

"Люди, годы, жизнь" Книга 2

- [И. Эренбург](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [Я,](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
-

И. Эренбург

"Люди, годы, жизнь" Книга II

Я походил на ягненка, отбившегося от стада, о котором писал Дю Белле: ведь когда я уехал из России, мне не было и восемнадцати лет. Как пригостишка, я готов был учиться грамоте; спрашивал всех, что происходит, но в ответ слышал одно: «Этого никто не понимает...» Я пробовал заводить длиннейшие разговоры - о миссии России, о гнили Запада, о Достоевском, но люди были заняты другим: они не разговаривали, а ругались, проклинали - кто большевиков, кто Керенского, кто революцию.

На Финляндском вокзале нас встретила пожилая меньшевичка в пенсне; она мне сказала: «Идите за мной». Я ответил, что меня сопровождает конвойный. Она начала ругать солдата, солдат ругал ее. Она ему говорила, что он мешочник (он действительно вез с собой кулек), а он отвечал, что она, наверно, «жрет мармелад». Я стоял и дивился. Меньшевичка нас отвезла в общежитие: там было тесно и темно. Какой-то юноша кричал своему соседу: «Какой ты революционер? Ты - Галифе, тебя нужно приставить к стенке!..»

Как всем политэмигрантам, мне дали отсрочку; поручик в участке сказал, что в армии и без меня достаточно болтунов.

Я получил в «Биржевке» причитающийся мне гонорар и поселился в меблированных комнатах на Мойке. С утра я шел на улицу и смотрел. Архитектура города, его проспекты казались мне необычайно ясными, величественными, но понять что-либо было невозможно.

Я пошел на митинг в цирк Чинизелли. Народу было много, но я сразу почувствовал, что речи всем надоели: энтузиазм первых месяцев, видимо, успел иссякнуть, даже болтуны выговорились. Выступали люди случайные. Седая дама доказывала, что революцию спасет эсперанто; ее не слушали. Потом выступал анархист, он говорил, что необходимо сейчас же отменить государство; все на него кричали; тогда он стал отчаянно свистеть - и его стащили с подмостков. Элегантно одетый молодой человек умолял не отдавать Россию кайзеру. На него насели два солдата: «А ты, сукин сын, в окопе сидел?..»

Я попытался разыскать поэтов, с которыми переписывался; никого из них в городе не оказалось, мне отвечали «на даче» или «в Крыму». Т. И. Сорокин как-то послал за мной: «Приходи, здесь сейчас Блок». Я побежал в Зимний дворец, но пришел слишком поздно - Блока уже не было. Так я и не увидел поэта, стихи которого любил больше всего...

В «Биржевке» мне посоветовали пойти в ресторан «Вена» - там по вечерам собираются поэты и художники. Я решил, что «Вена» нечто вроде «Ротонды». Но за столиками сидели обыватели, офицеры, спекулянты. Один кричал; «Что же вы на карточке пишете, если этого нет? Вы еще Николая поставьте!» Дама визжала: «Почему они прозевали Ленина?..»

На улицах ловили дезертиров; патрули, проверявшие документы, сами ходили на дезертиров. Однажды я видел, как два офицера отобрали у женщины мешок с сахарным песком. Она вопила: «Ироды!..» Когда она ушла, один из офицеров крикнул вслед, что скоро ее приставят к стенке,- Керенский потакает мешочникам, но и на него найдется управа. Потом офицеры, не стесняясь прохожих, поделили между собой добычу.

В магазинах можно было купить гаванские сигары, севрские вазы, стихи графини де Ноай. В кондитерских подавали кофе с медом (сахара уже не было), а вместо пирожных - тоненькие ломтики белого хлеба и повидло. Извозчики больше не говорили про овес, только угрюмо ругались. Один поэт; с которым я познакомился в редакции «Биржевки», сказал: «Единственная надежда на генерала Корнилова. Его зовут Лавр - это символично...»

Солдаты говорили про «замирение». Дезертиры ничего не говорили, мрачно поглядывали на прохожих. По Невскому гуляли девушки в военной форме; они лихо козыряли, и груди у них были очень большие; они «митинговали» на углу Садовой, кричали, что нужно найти Ленина, а пока что арестовать Чернова.

Я услышал Чернова; он говорил, как в Париже, очень возвышенно. Но в марте он меня чем-то тронул, а в августе показался смешным. Он умел говорить и, в общем, напоминал французского радикал-социалиста, который клянется избирателям, что если его выберут, то он построит мост через речку. Чернов клялся, что даст крестьянам землю и спасет Россию от немцев. У него были хитрые

глаза; по-моему, никто из слушавших ему не поверил. Слышал я и Керенского; это напоминало театр - казалось, что глава Временного правительства сейчас заплачет или убежит со сцены. К этому времени слава Керенского успела потускнеть; все же полсотни женщин истошно вопили, приветствуя его, одна кинула ему букетик полуувядших астр; он поднял цветы и почему-то их понюхал.

Я встретил двух-трех эмигрантов, которых знал по Парижу. Один из них, большевик (его звали Сашуней), сказал, что Антонов-Овсеенко сидит в Крестах, что меньшевики - предатели, время споров прошло. Я спросил его, не боится ли он, что немцы, воспользовавшись гражданской войной, захватят Петроград. Он стал кричать, что я рассуждаю, как меньшевик, что я интеллигент «с головы до ног», «интеллигенция путается в ногах», теперь не немцы страшны, а «оборонцы». Я проговорил час или два с Савинковым. Он был помощником военного министра, и я не узнавал того Бориса Викторовича, который уныло усмехался в «Ротонде». Савинков говорил о крутых мерах, о диктатуре, о порядке. Керенского он назвал фразером, который упивается тембром своего голоса; о Временном правительстве отозвался презрительно: «Это растерявшиеся люди, они заседают не сидя, а стоя...» В Зимнем дворце я увидел, как жил царь; жил он неинтересно; комнаты были заставлены безвкусной мебелью, мещанскими безделушками. (Такие же вещи я увидел потом в пекинском дворце, в покоях последнего китайского императора.) Среди пуфов стояли раскладушки; валялись винтовки - революция, которую Савинков хотел преждевременно но похоронить, бродила по залам Зимнего дворца. На лестнице какая-то дама схватила помощника военного министра за борт пиджака: «Но вы мне скажите, почему Жоржа держат в остроге? Он еще в лицее читал Герцена...»

Савинков познакомил меня с Ф. А. Степуном. Я знал, что Степун - философ, что он написал интересную книгу «Письма прапорщика», в которой показал войну без обязательной позолоты. Менее всего я мог себе представить его исполняющим должность начальника политического управления военного министерства. Лицо у него было скорее мечтателя или пастора. Я начал бестолково и страстно твердить, как Сашуне, что немцы могут оккупировать Россию и задавить революцию. Он спросил, не хочу ли я стать военным

комиссаром. Я усмехнулся - комиссар должен понимать, объяснять, а я занят другим: всех спрашиваю.

Был я и в Смольном. Там люди кидались на Чхеидзе, кричали, что Савинков сговаривается с генералами, а в тюрьму сажают рабочих. В коридорах спали солдаты.

Один из парижских эмигрантов мне строго сказал: «Здесь тебе не «Ротонда» - иди на фронт...» Я ответил, что меня не хотят брать в армию. Он зло рассмеялся: «Значит, ты большевик? Я тебя выведу на чистую воду...» Старушка прижала меня к стенке, плакала: «Ты им скажи, что у Андрюши дочка в консерватории, а сукно это Мишукни получил...»

В Петрограде тогда находились Тихон Иванович Сорокин и Катя с моей дочкой Ириной. Они жили у отца Кати, который не мог слышать моего имени: ко всем прочим грехам я был евреем. Катя тайком от отца привела ко мне Ирину; девочке тогда было шесть лет. Я ее повел в кафе «Ампир», угостил белым хлебом с повидлом. Потом мы гуляли по Невскому. У Ирины одно время была няня итальянка, она ее научила молиться богу. Девочка попросила, чтобы мы зашли в Казанский собор; там она тотчас стала на колени и приказала мне последовать ее примеру. Я не послушался. Ирина начала кричать, плакала; женщины, молившиеся в соборе, возмутились: стыдно в святом месте обижать ребенка! К счастью, Ирине надоело молиться, и она спросила, нельзя ли снова пойти в кондитерскую.

Тихон сказал мне, что Степун направляет его на Кавказский фронт, а меня хочет сделать помощником Тихона. Я долго смеялся: Тихон разбирался в событиях еще меньше, чем я. Он хорошо знал книги Владимира Соловьева и архитектуру ранней готики. Интересно, о чем он будет говорить солдатам: о «вечной женственности» или о витражах Шартрского собора?..

(В архиве я нашел удостоверение военного министра от сентября 1917 года, в котором говорится, что «в согласии с фронтовой комиссией Центрального исполнительного комитета Всероссийского съезда Советов солдатских и рабочих депутатов» я назначен помощником военного комиссара Кавказского военного округа. Об этом назначении я узнал, когда уже исчезли и военный министр и Кавказский фронт.)

Все уверяли, что кто-то скоро «выступит»; одни считали, что выступит генерал Корнилов, другие - что выступят большевики. Я понял, что ничего не пойму, и уехал в Москву.

Вот и Остоженка... Здесь я знал все переулки, все вывески. Сначала город мне показался более спокойным; но это была видимость - люди и здесь ничего не понимали. Я попробовал разыскать старых знакомых. Прошло восемь лет, а это немалый срок. Один гимназист, ходивший в 1907 году на наши собрания, успел стать модным адвокатом; когда я назвал себя, он начал на меня кричать: «Доигрались! Мог бы сидеть в Париже, там, по крайней мере, не стреляют на улицах...» Гимназистка Люся, которая обожала стихи Лермонтова, оказалась полной дамой с усиками; она меня напоила чаем, но замучила жалобами: нет сахара, прислуга дерзит, ночью страшно выйти на улицу.

На Тверской помещалось кафе «Бом» с красными бархатными диванами; там подавали кофе и пирожные. Туда приходили писатели. Там я познакомился с В. Г. Лидиным; он был розовым и очень опрятным; говорил о лошадях, о конюшнях, о мастерстве Бунина. Б. К. Зайцев задушевно рассказывал о красоте православных обрядов и о новелле. В. Ф. Ходасевич язвительно обо всех отзывался и писал нежные стихи о том, что его клонит к смерти, как девушек вечером клонит ко сну; у него было лицо, похожее на череп. А. Н. Толстой мрачно попыхивал трубкой и говорил мне: «Пакость! Ничего нельзя понять. Все спятили с ума...»

Алексей Николаевич уверял, что я похож на мексиканского каторжника. Я зашел в кафе на Арбате, начал что-то строчить; подошла девушка, сердито забрала пустой стакан и сказала: «Здесь вам не университет...» Я отвык от русского быта и часто выглядел смешным. Мне казалось, что именно поэтому я не могу разобраться в значении происходящих событий. Но и Алексей Николаевич был растерян не меньше меня. Недавно я перечитал дневники Блока, письма Короленко, статьи Горького; все тогда и принимали, и отвергали, и соглашались, и протестовали. Очевидно, «мексиканский каторжник» оказался при проверке заурядным русским интеллигентом... Я говорю это не для того, чтобы каяться или оправдываться; мне хочется объяснить мое состояние в 1917-1918

годы. Конечно, теперь я вижу все куда яснее, но гордиться здесь нечем - задним умом крепок каждый.

Говорят, что из-за деревьев не видно леса; это так же верно, как то, что из-за леса не видно деревьев. Читая о Франции 1793 года, мы видим Конвент, неподкупного Робеспьера, гильотину на площади Революции, клубы, где витийствовали санкюлоты, памфлеты, заговоры, битвы. А в том самом году Филипп Лебон сидел в маленькой лаборатории и думал о газе; Тальма репетировал ложноклассическую трагедию; модницы примеряли новые шляпы с лентами; домашние хозяйки рыскали по городу, разыскивая исчезающие продукты.

А. Н. Толстой так описал разговоры лета 1917 года: «Пропадем или не пропадем? Быть России или не быть? Будут резать интеллигентов или останемся живы?»; другой говорил: «Оставьте, батенька, зачем нас резать, чепуха, не верю, а вот продовольственные магазины громить будут»; третий сообщал из достоверного источника, что «к первому числу город начнет вымирать от голода».

Случайно у московских знакомых сохранилась моя записная книжка 1917 - 1918 годов. Записи настолько лаконичны, что порой я не могу их расшифровать, но некоторые строки помогли мне многое восстановить в памяти. Записал я и про первую встречу с В. Я. Брюсовым. Это было в то самое лето, о котором писал Толстой. Я провел у Валерия Яковлевича несколько часов. Он прочитал мне недавно написанное им стихотворение об Ариадне, и мы поспорили. Если сформулировать эту часть беседы, то она будет выглядеть достаточно неожиданно для августа 1917 года:

1. Правда ли, что Тезей испытывал угрызения совести, оставив Ариадну на безлюдном острове?

2. Как правильнее писать - «Тезей» или «Фессей»? (Валерий Яковлевич настаивал на последней транскрипции.)

3. Нужно ли современному поэту писать о Тезее? (Я говорил, что не нужно.)

Можно подумать, что Брюсов был эстетом, формалистом, вечным декадентом, решившим противопоставить свой мир действительности. Это неверно; вскоре после Октябрьской

революции, когда и его сверстники, и поэты более молодого поколения (в том числе я) недоумевали, метались, многое оплакивали, многим возмущались, Брюсов уже работал в первых советских учреждениях. Если он говорил со мной о Тезее, то потому, что верил в живучесть поэзии и уважал свою собственную работу. Всю жизнь он жил книгами - чужими и своими. В молодости он как-то признался, что у него «глупая чувствительность к романам, когда ее вовсе нет к событиям жизни».

Я шел к нему с двойным чувством: помнил его письма -он ведь неоднократно приободрял меня,- уважал его, а стихи его давно разлюбил и боялся, что не сдержусь, невольно обижу человека, которому многим обязан.

Валерий Яковлевич жил на Первой Мещанской; чтобы попасть к нему, я должен был пересечь знаменитую Сухаревку. Если Ватикан в Риме - независимое государство, то таким государством в Москве 1917 года была Сухаревка; она не подчинялась ни Временному правительству, ни Совету рабочих депутатов, ни милиции. Прекрасная башня высилась над грандиозным рынком; здесь, кажется; еще жила Древняя Русь с ее слепцами, певшими заунывные песни, с нищими, с юродивыми. Матерщина перебивалась причитаниями, древняя божба - разговорами о «керенках», о буржуях, о большевиках. Кого только тут не было: и дезертиры, и толстушие бабы из окрестных деревень, и оказавшиеся безработными гувернантки, экономки, приживалки, и степенные чиновницы, и воры-рецидивисты, и сопляки, торговавшие рассыпными папиросами, и попы с кудахчущими курами. Все это шумело, чертыхалось, покрикивало, притопывало - человеческое море...

«Восплакался Адамий: раю мой, раю!» - гнусавил слепец; его песня еще звучала у меня в ушах, когда я подошел к дому Брюсова. Сухаревка была необходимым предисловием, ключом к разгадке сложного явления, именуемого «Валерием Брюсовым»; ведь если можно спорить о ценности стихов, посвященных Тезею, Ассаргадону, Кукулкану, то никто не станет отрицать значение Брюсова в развитии русской культуры. (Валерий Яковлевич как-то написал: «Желал бы я не быть Валерий Брюсов»; но хорошо, что он им был.)

Конечно, не одна только Сухаревка имеет право значиться в предисловии; я сказал о ней, потому что Брюсов жил неподалеку;

можно было бы припомнить и Зарядье с его лабазами, и «Общество свободной эстетики», и Китай-город, и купца Щукина, покупавшего холсты никому не ведомого Пикассо, и «Литературно-художественный кружок» на Большой Дмитровке, где Валерий Яковлевич проповедовал «научную поэзию», пока члены кружка, прекрасно обходившиеся и без науки и без поэзия, играли в винт. Брюсов одевался по-европейски, знал несколько иностранных языков, в письма вставлял французские словечки, на стены вешал не Маковского, а Ропса, но был он порождением старой Москвы, степенной и озорной, безрассудной и смекалистой.

Его трудолюбие, энергия поражали всех. При том первом свидании, о котором я рассказываю, он запальчиво возражал против моего, как он говорил, «безответственного» отношения к поэтической работе: «При чем тут вдохновение? Я пишу стихи каждое утро. Хочется мне или не хочется, я сажусь за стол и пишу. Даже если стихотворение не выходит, я нахожу новую рифму, упражняюсь в трудном размере. Вот черновики», - и он начал выдвигать ящики большого письменного стола, заполненные доверху рукописями. Меня он укорял за легкомыслие, дилетантство; говорил, что нужно устроить высшую школу для поэтов: это - ремесло, хотя и «святое», оно требует обучения.

Он был великолепным организатором. Отец его торговал пробкой, и я убежден, что, если бы гимназист Брюсов не напал на стихи Верлена и Малларме, у нас выросли бы леса пробкового дуба, как в Эстремадуре. Работоспособность в нем сочеталась с честолюбием. Когда ему было двадцать лет, он записал в дневнике: «Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало. Надо выбрать иное... Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это - декадентство. Да! Что ни говорить, ложно ли оно, смешно ли, но оно идет вперед, развивается, и будущее будет принадлежать ему, особенно когда оно найдет достойного вождя. А этим вождем буду Я! Да, Я!»

Он организовывал издательства, создавал журналы, писал труды о стиховедении, переводил латинских авторов, спорил с признанными авторитетами, наставлял молодых; боялся одного - отстать от своего времени.

Он часто писал о хаосе - это шло от Тютчева; но Брюсову хотелось взять воспеваемый им хаос и его организовать. Помню, как я пришел к нему в конце 1920 года в маленький особняк, где помещался ЛИТО - так назывался отдел Наркомпроса, которому была вверена литература. Валерий Яковлевич говорил со мной как заведующий отделом, предлагал работу; он показал на стену, там висела диковинная диаграмма: квадраты, ромбы, пирамиды - схема литературы. Это было наивно и вместе с тем величественно: седой маг, превращающий поэзию в канцелярию, а канцелярию - в поэзию.

Его часто называли рационалистом, человеком сухого рассудка; многие уверяли, что он никогда не был поэтом. По-моему, это неверно: разум для Брюсова был не здравым смыслом, а культом, и в своей вере в разум он доходил до чрезмерности. Поэтом он был даже в самом обыденном, обывательском понимании этого слова: жил в условном мире исступленных схем. Его замечательно написал Врубель; сухие, обжигающие глаза, голова, как бы срезанная сзади.

Вспоминаю «Кафе поэтов» в Москве в 1918 году. Приходили туда люди, мало причастные к поэзии,- спекулянты, дамочки, молодые люди, именовавшие себя «футуристами». Валерий Яковлевич объявил, что будет импровизировать терцины на темы, заданные посетителями. Ему посылали дурацкие записки. Он как будто не замечал ни официантов с их криками «два кофе, два!», ни смеха подвыпивших матросов. Строгий, торжественный, он читал стихи; у него был странный голос, когда он декламировал,- резкий, отрывистый. Читая, он откидывал голову назад. Он походил на укротителя, только перед ним были не цирковые львы, а слова. Он сочинял терцины то о Клеопатре, то о барышне, сидевшей за столиком, то о прозрачных городах будущего.

Ко всему он подходил серьезно; его эротические стихи - нечто вроде путеводителя по царству Афродиты. Окруженный поэтами, охваченными мистическими настроениями, он начал изучать «окультурные науки». знал все особенности инкубов и суккубов, заклинания, средневековую ворожбу.

Когда появились футуристы, Бальмонт наивно просил их помедлить с его низложением. Брюсов попробовал сам низвергать; написал стихотворение «Футуристический вечер». Маяковский писал:

...а за солнцами улиц где-то ковыляла никому не нужная, дряблая луна.

У Брюсова:

Монетой, плохо отчеканенной.

Луна над трубами повешена.

Футуристы, однако, не признали его своим, и среди их лозунгов значилось: «Стащить бумажные латы с черного фрака Брюсова».

Валерий Яковлевич разыскал во Франции мало кому известного поэта Рене Гиля, изобретателя «научной поэзии». Брюсову рассуждения Рене Гиля понравились: Валерий Яковлевич давно уже хотел быть колдуном с высшим образованием, магом-академиком.

Он изучил Пушкина, писал об анагорах, зевгмах, пролепсах, силлепсах, подсчитал, что в третьей главе «Онегина» семьдесят три процента рифм отличаются согласованием доударных звуков, а в четвертой главе всего пятьдесят четыре процента. Брюсов попытался дописать «Египетские ночи», создать обновленный вариант «Медного всадника»; эти его вещи не хочется перечитывать.

Несправедливо некоторые обвиняли Брюсова в отсутствии вкуса: эта черта присуща всем символистам - очевидно, такой у них был вкус. Разве не удивительно, что почти все они восхищались поэтами Игоря Северянина, которые нам кажутся образцом пошлости? Брюсов мог незадолго до смерти писать:

Я - междумирок. Равен первым,

Я на собранье знати - пэр.

И каждым вздохом, каждым нервом

Я вторю высшим духам сфер.

Я думаю сейчас о поэзии символистов. Это было замечательное явление; родился великий поэт Александр Блок; русский стих как будто раскрепостили. Но до чего мне по-человечески понятнее письма не только Чехова, но и его тусклых сателлитов, чем дневники Брюсова, путевые очерки Бальмонта или переписка между Блоком и Андреем Белым!..

К принятию революции Брюсова привел разум: он увидел завтрашний день. Ему было уже под пятьдесят. Он работал над сохранением библиотек, над распространением поэзии, делал много доброго и важного. Есть довольно уродливое немецкое слово «культуртрегер»; по смыслу оно вполне подходит к деятельности

Брюсова и до революции и после. Я предпочту более старомодное определение: Брюсов был просветителем.

Он верил, что революция коренным образом переменит все; говорил мне, что социалистическая культура будет отличаться от капиталистической столь же сильно, как христианский Рим от Рима Августа. Он хотел подойти к новому и как поэт; но был слишком тесно связан с прежним миром. Его стихи о революции наполнены мифологическими образами, в них знакомый нам словарь символистов. В Октябрьские дни он увидел в Москве трех парок Эллады. Когда Г. В. Чичерин подписал соглашение с Германской республикой, Брюсов писал:

От совета Лемууров до совета в Рапалло...

Он обличал защитников капитализма:

Было так, длилось под разными флагами,

С Семирамиды до Пуанкаре...

Кто-то, засева властелином над благами,

Тесно сжимал роковое каре.

(Я вспоминаю аккуратного среднего француза месье Пуанкаре; он, бесспорно, был бы польщен, что кто-то поставил его рядом с легендарной Семирамидой.) Порой Брюсовым овладевала тоска, и он жаловался как в молодости:

Все люди, теперь и прежде,

И в грядущем, взглянув на забор,

Повтор все тех же арпеджий,

Аккордов старый набор!..

Он умер осенью 1924 года в возрасте пятидесяти одного года. Я был в Париже; мы устроили вечер памяти Брюсова. Когда человек умирает, вдруг его видишь по-новому - во весь рост. Есть у Брюсова прекрасные стихи, которые кажутся живыми и ныне. Может быть, над его колыбелью и не было традиционной феи, но даже если он не родился поэтом, он им стал. Он помог десяткам молодых поэтов, которые потом его осуждали, отвергали, ниспровергали. А молодой Советской России этот неистовый конструктор, неутомимый селектор был куда нужнее, чем многие сладкопевцы.

Не могу не вспомнить еще раз моих парижских лет. Валерий Яковлевич меня поддержал; даже его упреки помогли мне жить.

При первой нашей встрече Брюсов заговорил о Наде Львовой - рана оказалась незажившей. Может быть, я при этом вспомнил предсмертное стихотворение Нади о седом виске Брюсова, но только Валерий Яковлевич показался мне глубоким стариком, и в книжку я записал: «Седой, очень старый» (ему тогда было сорок четыре года). Записал я также: «Жизнь у него на втором плане», - может быть, думал при этом о Наде, может быть, о революции; но уже наверно помнил его слова о том, что «все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов».

Он подарил мне на память маленькую книгу, надписал: «В знак близости в одном, расхождений в другом». Это относилось к нашему спору о поэзии. О событиях того грозowego лета мы не говорили; только уходя, я не выдержал, спросил: что будет дальше? Валерий Яковлевич ответил стихами:

Растет потоп... Но с небосвода,

Приосеня прах.

Как арка радуги, свобода

Гласит о светлых днях.

Я снова очутился на Сухаревке. Слепой с его «Адамием» исчез. На углу Сретенки толпились люди - кого-то пырнули ножом, Я постоял и пошел дальше; а думал я не о Тезее - о потопе.

Марине Ивановне Цветаевой, когда я с нею познакомился, было двадцать пять лет. В ней поражало сочетание надменности и растерянности; осанка была горделивой - голова, откинутаая назад, с очень высоким лбом; а растерянность выдавали глаза: большие, беспомощные, как будто невидящие - Марина страдала близорукостью. Волосы были коротко подстрижены в скобку. Она казалась не то барышней-недотрогой, не то деревенским пареньком.

В одном стихотворении Цветаева говорила о своих бабках: одна была простой русской женщиной, сельской попадьей, другая - польской аристократкой. Марина совмещала в себе старомодную учтивость и бунтарство, высокомерность и застенчивость, книжный романтизм и душевную простоту.

Когда я впервые пришел к Цветаевой, я знал ее стихи; некоторые мне нравились, особенно одно, написанное за год до революции, где Марина говорила о своих будущих похоронах:

По улицам оставленной Москвы
Поеду - я, и побредете - вы.
И не один дорогою отстанет,
И первый ком о крышку гроба грянет,-
И наконец-то будет разрешен
Себялюбивый, одинокий сон.
И ничего не надобно отныне
Новопреставленной болярине Марине...

Войдя в небольшую квартиру, я растерялся: трудно было представить себе большее запустение. Все жили тогда в тревоге, но внешний быт еще сохранялся; а Марина как будто нарочно разорила свою нору. Все было накидано, покрыто пылью, табачным пеплом. Ко мне подошла маленькая, очень худенькая, бледная девочка и, прижавшись доверчиво, зашептала:

Какие бледные платья!
Какая странная тишь!
И лилий полны объятья,
И ты без мысли глядишь...

Я похолодел от ужаса: дочке Цветаевой - Але - было тогда лет пять, и она декламировала стихи Блока. Все было неестественным, вымышленным: и квартира, и Аля, и разговоры самой Марины - она оказалась увлеченной политикой, говорила, что агитирует за кадетов.

В ранних стихах Цветаева воспевала вольницу Разина. По природе она была создана скорее для бунта, чем для добротного порядка, о котором тосковали летом 1917 года перепуганные обыватели. У Цветаевой с ними не было ничего общего; но она отшатнулась от революции, создала в своем воображении романтическую Вандею; жалела царя (хотя и осуждала:

Помянет потомство

Еще не раз

Византийское вероломство

Ваших ясных глаз).

Повторяла:

Ох, ты барская, ты царская моя тоска...

Почему ее муж, Сережа Эфрон, ушел в белую армию? Я знал в Париже старшего брата Сережи - актера Петра Яковлевича Эфрона, больного туберкулезом и рано умершего. Сережа походил на него - был очень мягким, скромным, задумчивым. Никак не могу себе представить, что ему захотелось стать шуаном.

Он уехал, а Марина писала неистовые стихи: «За Софью на Петра!» Писала:

Андре Шенье взошел на эшафот,

А я живу, и это страшный грех.

Она читала эти стихи на литературных вечерах; никто ее не преследовал. Все было книжной выдумкой, нелепой романтикой, за которую Марина расплатилась своей искалеченной, труднейшей жизнью.

Когда осенью 1920 года я пробрался из Коктебеля в Москву, я нашел Марину все в том же иступленном одиночестве. Она закончила книгу стихов, прославлявшую белых, - «Лебединый стан». К тому времени я успел многое повидать, в том числе и «русскую Вандею», многое продумал. Я попытался рассказать ей о подлинном облике белогвардейцев - она не верила; пробовал я поспорить - Марина сердилась. У нее был трудный характер, и больше всех от этого страдала она сама. У меня сохранилась ее книга «Разлука», на

которой она написала: «Вам, чья дружба мне далась дороже любой вражды и чья вражда мне дороже любой дружбы. Эренбургу от Марины Цветаевой. Берлин, 29 мая 1922 года». (С ятями, даже с твердыми знаками, хотя к этому времени от прежних твердых позиций в ней оставалось мало что.)

Когда весной 1921 года я поехал одним из первых советских граждан за границу, Цветаева попросила меня попытаться разыскать ее мужа. Мне удалось узнать, что С. Я. Эфрон жив и находится в Праге, я написал об этом Марине. Она воспрянула духом и начала хлопотать о заграничном паспорте. Она рассказывала, что паспорт ей сразу дали; в Наркоминделе Миркин сказал: «Вы еще пожалеете о том, что уезжаете...» Цветаева везла с собой рукопись книги «Лебединый стан».

Ее встреча с мужем была драматичной. Сергей Яковлевич был человек обостренной совести. Он рассказал Марине о зверствах белогвардейцев, о погромах, о душевной пустоте. Лебеди в его рассказах выглядели воронами. Марина растерялась. В Берлине я с ней как-то проговорил ночь напролет, и в конце нашего разговора она сказала, что не будет печатать свою книгу.

(В 1958 году сборник «Лебединый стан» был издан в Мюнхене. Уезжая накануне второй мировой войны в Советский Союз, Цветаева оставила часть своего архива в библиотеке Базеля («нейтральная страна»). Не знаю, как удалось издателям получить рукопись; преследовали они, конечно, политические цели, нарушив волю Цветаевой,- она ведь провела в эмиграции семнадцать лет, много раз ей предлагали издать «Лебединый стан», она всегда отказывалась.)

Мне хочется углубить, да и расширить разговор об опозитизированной Мариной Цветаевой Вандее, сказать о том, как порой искусство становится позой, бутафорией, одеждой. (Я уже упоминал об этом, вспоминая свои ранние стихи.) Это относится не только к «Лебединому стану», но ко многим книгам многих поэтов, и этот разговор может хотя бы отчасти помочь понять дальнейшие главы моего повествования.

Как я говорил, у меня не сохранилось старых писем. Часть своего архива Цветаева привезла в Москву. Есть в нем черновики некоторых писем ко мне. В одном из них Марина писала: «Тогда, в 1918 году, Вы отметили моих донжуанов («плащ», не прикрывающий и не

открывающий), теперь, в 1922 году,- моих Царь-девиц и Егорушек (Русь во мне, то есть вторичное). И тогда и теперь Вы хотели от меня одного - меня, то есть костяка, вне плащей и вне кафтанов, лучше всего ободранную. Замысел, фигуры, выявление через - все это для Вас было более или менее бутафорией. Вы хотели от меня главного - без чего я - не я... Я Вас ни разу не сбила (себя постоянно и буду), Вы оказались зорче меня. Тогда, в 1918 году, и теперь, в 1922 году, Вы были жестоки - ни одной прихоти!.. Вы правы. Блуд (прихоть) в стихах ничуть не лучше блуда (прихоти, своеволия) в жизни. Другие - впрочем, два разряда - одни, блюстители порядка: «В стихах - что угодно, только ведите себя хорошо в жизни»; вторые, эстеты: «Все, что угодно, в жизни - только пишите хорошие стихи». И Вы один: «Не блудите ни в стихах, ни в жизни. Этого Вам не нужно». Вы правы, потому что к этому я молча иду».

Она шла и пришла к той шли, которую перед собой поставила, пришла дорогой страданий, одиночества, отверженности.

Сложны и мучительны были ее отношения с поэзией. Она написала о В. Я. Брюсове много несправедливого: видела внешность и не попыталась заглянуть глубже, задуматься, но, разумеется, ее должны были возмутить строки:

Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов.
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.

Цветаева отвечала: «Слов вместо смыслов, рифм вместо чувств? Точно слова из слов, рифмы из рифм, стихи из стихов рождаются...» Вместе с тем она жила в плену у поэзии. Вспоминая слова Каролины Павловой, Цветаева назвала одну из своих книг «Ремесло». В ней она писала:

Ищи себе доверчивых подруг.
Не выправивших чуда на число.
Я знаю, что Венера - дело рук,
Ремесленник,- и знаю ремесло!

Марина многих в жизни называла своими друзьями; дружба внезапно обрывалась, и Марина расставалась с очередной иллюзией. Был, однако, один друг, которому она оставалась верна до конца:

Да, был человек возлюблен!

И сей человек был - стол...

Ее рабочий стол - стихи.

Я встречал в жизни поэтов, знаю, как тяжело расплывается художник за свою страсть к искусству; но, кажется, нет в моих воспоминаниях более трагического образа, чем Марина. Все в ее биографии зыбко, иллюзорно: и политические идеи, и критические суждения, и личные драмы - все, кроме поэзии. Мало осталось людей, которые знали Цветаеву, но ее поэзия только-только входит в мир многих.

С отрочества до смерти она была одинокой, и эта ее отверженность была связана с постоянным отталкиванием от окружающего: «Я все вещи своей жизни полюбила и пролюбила прощанием, а не встречей, разрывом, а не слиянием». Очутившись в эмиграции, Цветаева оказалась снова одинокой; ее неохотно печатали эмигрантские журналы, а когда она написала восторженно о Маяковском, заподозрили в «измене». В одном из писем Цветаева рассказывала: «В эмиграции меня сначала (сгоряча!) печатают, потом, опомнившись, изымают из обращения, почуяв не свое: тамошнее. Содержание будто «наше», «а голос - и х и и й».

В том, что обычно называют политикой, Цветаева была наивна, упряма, искренна. В 1922 году я выпускал вместе с художником Э. Лисицким журнал «Вещь» - он выходил по-русски, по-французски и по-немецки. Марина по своему желанию перевела для журнала на французский язык обличительное стихотворение Маяковского «Слушайте, сволочи!». В тридцатые годы, давно охладев к русской Вандее, она все еще не могла примириться с новым стилем - я говорю не об искусстве, а о календаре. (Я вспоминаю рассказы о первом годе Советской власти; в Петрограде на одном из совещаний Блок страстно отстаивал старую орфографию - все он принимал, а вот «лес» без ятя ему казался не лесом.)

В годы первой мировой войны Цветаева писала:

Германия, мое безумье!

Германия, моя любовь!

(Она не была одинока - Блок тоже говорил о своей приверженности к немецкой культуре.) Четверть века спустя немецкие дивизии вступили в преданную Прагу, и Марина их прокляла:

О мания! О мумия
Величия!
Сгоришь,
Германия!
Безумие,
Безумие
Творишь.

Наши встречи в тридцатые годы были редкими, случайными, пустыми. Я не знал, как она живет, чем живет; не знал ее новых стихов. Это были для Цветаевой годы больших испытаний и большой работы: теперь я вижу, как она поэтически росла, освобождаясь от последних «плащей», находила простые и пронзительные слова.

Жилось ей очень плохо: «Муж болен и работать не может. Дочь вязкой шапочек зарабатывает пять франков в день, на них вчетвером (у меня сын 8-ми лет, Георгий) живем, то есть просто медленно подышаем с голоду».

С. Я. Эфрон стал одним из организаторов «Союза возвращения на родину». Он показал себя мужественным. Обращаясь к своему сыну, к молодым, родившимся в эмиграции, Марина писала:

Перестаньте справлять поминки
По Эдему, в котором вас не было!..

Аля уехала в Москву; вскоре за нею последовал С. Я. Эфрон.

Но не было в мнимом эдеме и самой Цветаевой. Прошлый мир никогда ей не казался потерянным раем.

Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!

Она многое любила именно потому, что «нельзя», аплодировала не в те минуты, что ее соседи, глядела одна на опустившийся занавес, уходила во время действия из зрительного зала и плакала в темном пустом коридоре.

Девочкой Марина увлекалась «Орленком» и всей условной романтикой Ростана. С годами ее увлечения стали плубже: Гёте, «Гамлет», «Федра». Она иногда писала стихи по-французски, по-немецки. Однако повсюду, кроме России, она чувствовала себя иностранкой. Все в ней связано с родным пейзажем - от «жаркой рябины» молодости до последней кровавой бузины. Основными темами ее поэзии были любовь, смерть, искусство, и эти темы она

решала по-русски. Любовь для нее тот «поединок роковой», о котором говорил Тютчев. Цветаева писала о пушкинской Татьяне: «У кого из народов такая любовная героиня: смелая и достойная, влюбленная и непреклонная, ясновидящая и любящая?» Пуще всего Марина ненавидела заменители любви:

Сколько их, сколько их ест из рук.

Белых и сизых!

Целые царства воркуют вокруг

Уст твоих. Низость!

Она сама была «влюбленной и непреклонной».

Цветаева вернулась на родину с четырнадцатилетним сыном в 1939 году. Кажется, одним из ее последних стихотворений было написанное после того, как фашисты прикончили Испанию и вторглись в Чехословакию:

Отказываюсь - быть.

В Бедламе нелюдей

Отказываюсь - жить.

С волками площадей

Отказываюсь - выть...

С. Я. Эфрон погиб. Аля была далеко - в лагере. Марина и в Москве оказалась одинокой.

Она пришла ко мне в августе 1941 года; мы встретились после многих лет, и встреча не вышла - по моей вине. Это было утром, «тарелка» успела уже рассказать: «Наши части оставили...» Мои мысли были далеко. Марина сразу это почувствовала и придала разговору деловую видимость: пришла посоветоваться о работе - о переводах. Когда она уходила, я сказал: «Марина, нам нужно повидаться, поговорить...» Нет, мы больше не встретились: Цветаева покончила с собой в Елабуге, куда ее занесла эвакуация.

Сын Марины погиб на фронте. Алю я иногда вижу; она собрала неизданные стихи Марины.

От многих строк Цветаевой я не могу освободиться - они засели в памяти на всю жизнь. Дело не только в огромном поэтическом даре. Дороги у нас были разные, и, кажется, мы ни разу не встретились на одном из тех перекрестков, где человек, в действительности или только в своих иллюзиях, выбирает себе дорогу. Но есть в поэтической судьбе Цветаевой нечто мне очень близкое - постоянные сомнения в

правах искусства и одновременно невозможность от него отойти. Марина Ивановна часто спрашивала себя, что важнее - поэзия или созидание реальной жизни, отвечала: «За исключением дармоедов во всех их разновидностях - все важнее нас (поэтов)». Она писала после смерти Маяковского: «Прожил, как человек, и умер, как поэт...» Никогда Цветаева не пыталась укрыться от жизни; напротив, хотела жить с людьми: одиночество было для нее не программой, а проклятием; оно было тесно связано с тем единственным другом Марины, о котором она сказала: «Сей человек был - стол...» Она не была никогда в «Ротонде», не знавала Модильяни, а написала:

Гетто избранничеств! Вал и ров.

По - щадь не жди!

В сём христианнейшем из миров

Поэты - жида!

Слово «избранничество» может сбить с толку; но Цветаева считала «гетто» не гордым отъединением, а обреченностью: «Какой поэт из бывших и сущих не негр?»

Когда я перечитываю стихи Цветаевой, я вдруг перестаю думать о поэзии, перехожу к воспоминаниям, к судьбе многих моих друзей, к своему - люди, годы, жизнь...

Передо мной клочок желтой выцветшей газеты; это «Биржевка» за 24 сентября 1917 года. Несколько театральных новостей: «Михайловский театр репетирует «Смерть Иоанна Грозного», но пьеса, весьма возможно, будет снята с репертуара, причины - малочисленность труппы и несоответствие политических тенденций самой пьесы с событиями и настроениями наших дней». «Комиссия при Совете Р. и С Д. устраивает в октябре ряд симфонических концертов. Участвуют солисты и оркестр 171-го зап. пехотного полка. Дирижировать концертами будут А. Глазунов, А. Зилоти и А. Коутс». Рядом напечатан мой очерк, присланный из Москвы:

«В квартире 6 у писателя-символиста изысканное общество: мадам Элеонора - теософка, офицер с орденами, еще писатель помоложе, несколько просто интеллигентов.

– Никто не слушает,- стонет интеллигент.- Недостоин наш народ свободы - хамы, насильники, воры. В трамвае у меня два ключа украли. Палки требуют. Рано дали им свободу, не учли. Говорят, «учите их». Этих-то мужиков? Не-ет! Пускай попробуют, проявятся. Порезут друг друга, а потом приедет генерал на белом коне - усмирят. И лучше будет...

– Что вы,- грустно вздыхает теософка,- вы говорите, на коне генерал, а я думала - Милюков...

– Так точно, палка необходима,- учтиво поясняет ей офицер.- И возьмите, до этой «свободы» офицера, который, простите, и в морду даст при случае, солдатики очень уважали, можно сказать, любили. А теперь комитеты и прочее безобразие. Чтобы «земляки» наши резолюции выносили?.. Не могу! Они мне Георгия за храбрость присудить хотели. Отказался - хитрость! Так точно, палка необходима, дисциплина...

Писатель-символист недоумевающе оглядывает гостей, закатывает глаза и вещает:

– Уходите! Прячьтесь! Спасайте нашу культуру, мудрость, веру от этих варваров! Все достояние в библиотеках, в музеях, в ваших душах. Храните музеи! Замкните от голоса улицы ваши уши! Я не раскрываю

этих треклятых газет, почти не выхожу из дома. В моих ушах звенит пеон...

– А я, мэтр,- заявляет молодой писатель,- занял несколько иную позицию. В душе я бесстрастен, но слежу за игрой страстей. Я выше ее, но сколько материала для моего грядущего романа!..

Все начинают беседовать о пеонах и ямбах, о символистах и футуристах. Лишь четверть часа спустя по поводу пастилы, стоящей семь рублей и заменяющей сахар, все возвращаются на землю. И снова стонет интеллигент:

– Хамы! Палку! Генерала!..»

Издеваясь над другими, я издевался над собой: я не мечтал ни о палке, ни о генерале, ни о дешевой пастиле, но понять происходящее не мог.

Москва жила, как на вокзале,- в ожидании третьего звонка. Устраивали облавы на дезертиров. Ругались повсюду, а особенно в трамваях, которые ползли, облепленные людьми. В «Метрополе» отчаявшиеся либералы пили французское шампанское, расплачиваясь большими листами неразрезанных «керенок»; по привычке они бормотали, что нужно спасти Россию, может быть, им и хотелось спасти себя, но они больше ни во что не верили. В кафе «Бом» новоиспеченные издатели уверяли, что издадут «Гавриилиаду», мемуары Распутина и полное собрание сочинений любого из нас; некоторые быстро остывали к издательскому делу и переходили на мануфактуру или на сахар. В чайных на Шаболовке люди угрюмо ждали развязки.

Моя мать была в Ялте; мне хотелось повидать ее после долгой разлуки. С трудом я купил билет и прорвался в вагон. Мать я нашел сильно постаревшей; она кашляла, куталась в оренбургский платок и боялась выстрелов (стреляли часто и неизвестно почему).

Я заехал в Коктебель к Волошину. Он говорил о стихии, о протопопе Аввакуме, о трех эринниях со змеями; а глаза его напоминали окна с закрытыми ставнями.

В поезде пассажиры поймали воришку, мальчика лет двенадцати; все на него кинулись, били. Я до сих пор вижу детское лицо в крови... На одной станции поезд простоял часа три; все пошли на базар, накупили хлеба и яблок; потом начали митинговать. Барышня, прижимая к груди буханку, истерически вопила, что теперь даже

калеки обязаны идти на фронт. Солдат ее крыл матом, но она не унималась. Мешочники следили за своими мешками и загадочно усмехались.

Когда я приехал в Москву, шли уличные бои. У Красных ворот я увидел на мостовой старика - его убила шальная пуля.

В 1921 году автор «Хулио Хуренито» так описывал переживания персонажа, именуемого в романе «Ильей Эренбургом»: «Я проклинал свое бездарное устройство; одно из двух: надо было вставить другие глаза или убрать эти никчемные руки. Сейчас под окном делают - не мозгами, не вымыслом, не стихами, нет, делают руками историю... Кажется, нет ничего лучше - беги через ступеньки вниз и делай ее скорее, пока под руками глина, а не гранит, пока ее можно писать пулями, а не читать в шести томах ученого немца. Но нет, я сижу в каморке, жую холодную котлету и цитирую Тютчева. Проклятые глаза, косые, подслеповатые или дальнорские, во всяком случае нехорошие! Зачем видеть тридцать три правды, если от этого не можешь зажать в кулак одну, пусть куцую, но свою, кровную, крепкую? Кругом, по крайней мере, охают, радуются и по различным обстоятельствам прославляют господу. «Слава богу, идет Алексеев, этих разбойников прогнали!» - кричит Леля. «Слава тебе, господи, - умиляется ее прислуга Матреша, - большаки берут верх». Я даже на это не способен... Запомните, господу из так называемого «потомства», чем занимался в эти единственные дни русский поэт Илья Эренбург».

Я писал далее все в том же «Хуренито»: «Пошла повсеместная панихида; причем многие оплакивали то, чего раньше не замечали или, замечая, не одобряли: Леля - великодержавность, Сережа (тот, что с Михайловским) - церковь, гимназист Федя - промышленность и финансы. Это было все-таки делом, и за отсутствием другого я занялся оплакиванием... Я вспоминал, отпевал, писал стихи и читал их со средним успехом в многочисленных «кафе поэтов».

На этот раз автор «Хуренито» говорил не о воображаемом герое, а о самом себе, говорил откровенно, отнюдь не пытаясь себя оправдать или приукрасить. Однако я издевался над собой не только три года спустя, но и в те самые дни, когда недоумевал, искал тридцать три правды и оплакивал мир, который никогда не был моим. Я писал тогда очень плохие стихи: искусство не терпит лжи, а я старался обмануть

самого себя - молился богу, в которого не верил, рядился в чужую одежду.

В дневниках Блока есть запись от 31 января 1918 года: юноша Стэнг рассказывает Блоку об отношении молодежи к поэзии: «Сначала было 3 Б (Бальмонт, Брюсов, Блок); показались пресными - Маяковский; и он пресный - Эренбург (он ярче всех издевается над собой; и потому скоро мы все будем любить только Эренбурга)».

Стэнг - это молодой поэт В. О. Стенич. Познакомился я с ним позднее. Он читал вперемежку стихи Блока, Маяковского, Хлебникова, свои собственные; печально зубоскалил; почему-то мне запомнилась его шутливая пародия на Анненского:

Бывают такие миги,
Когда не жаль и малых овец.
Об этом писала в поваренной книге
Елена Молоховец.

Погиб он в тридцатые годы, Если бы я тогда услышал от Стенича, что кому-то могут нравиться мои стихи, я, наверно, удивился бы: мне самому они не нравились; в записной книжке я себя уговаривал: «Нужно перестать писать, заняться огородничеством или, когда все успокоится, купить аппарат со штативом и снимать портреты на ярмарках».

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!

Эти строки написаны двадцатисемилетним поэтом, вторым секретарем российского посольства в Мюнхене. Молодой Тютчев читал в газетах о Французской революции 1830 года и, находясь в спокойной, сонной Баварии, позавидовал свидетелю бури:

Он их высоких зрелищ зритель...

А на самом деле, когда история переходит со страниц учебника на окрестные улицы, ничего нет глупее и унижительнее роли зрителя. Напрасно лжемудрец пытается осмыслить происходящее: если подойти вплотную к большому зданию, будь оно самым прекрасным, самым величественным, видишь только детали. Участник событий понимает куда больше, чем холодный наблюдатель; слепота поражает не того, кто любит и ненавидит, а того, кто пытается, сидя в зале, расшифровать мелькающие кадры фильма.

Как-то я встретил Алексея Ивановича Окулова. Я знал его в Париже угрюмым, он много пил, не понимал, что ему делать; записывал что-то в блокнот; потом раскладывал на постели листочки и сшивал рассказ; получил даже как-то премию. Числился он писателем, но, выпив, кричал: «Какой я писатель? Уж если я на что-нибудь годен, так стрелять...» Биография его была бурной: боевые дружины, тюрьмы, эмиграция, подполье, снова тюрьмы и снова эмиграция, В революционной Москве он чувствовал себя уверенно; он мне сказал, что через несколько дней уезжает на фронт. Такое душевное веселье - привилегия активного участника событий. Удел наблюдателей куда горше. А. М. Горький писал: «...В 17 - 18 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными. Он - политик. Он в совершенстве обладал тою четко выработанной прямолинейностью взгляда, которая необходима рулевому столь огромного, тяжелого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия. У меня же органическое отвращение к политике, и я плохо верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской массы - в особенности». Горький оказался наблюдателем и тринадцать лет спустя написал: «Пусть же читатели знают эту мою ошибку. Было бы хорошо, если б она послужила уроком для тех, кто склонен торопиться с выводами из своих наблюдений».

(Мне кажется, что Горький в одном не прав: люди учатся на своих ошибках, а не на чужих - уж слишком часто в истории повторяются одни и те же ошибки.)

Я не могу сказать, что я всегда чуждался политики, точнее - действия: я начал с подпольной работы, потом, в зрелом возрасте, не раз оказывался участником событий; в дальнейших частях моих воспоминаний политические события будут не раз заслонять книги или холсты. Но в 1917 году я оказался наблюдателем, и мне понадобилось два года для того, чтобы осознать значение Октябрьской революции. Для истории два года - ничтожный срок, но в человеческой жизни это много смутных дней, сложных раздумий и простой человеческой боли.

С тех пор прошло почти полвека... Мне хочется напомнить, какой выглядела Франция полвека спустя после революции 1789 года. Позади был калейдоскоп событий - термидор, госпожа Тальен,

молодой корсиканец, наполеоновские войны, казаки в Париже, снова Бурбоны, белый террор, маленькая революция,- и в итоге Людовик-Филипп, демократизм которого состоял в том, что он прогуливался с зонтиком в руке и отвечал на поклоны верноподданных. Для парижанина 1839 года революция 1789 года была событием давно минувшей, загадочной эпохи. Из сотни людей, с которыми я вчера разговаривал, вряд ли один помнит дореволюционную Россию: для пятидесятилетних, не говоря уж о более молодых, советский строй не идея, о которой можно спорить, не программа одной партии, а естественная форма общества.

Конечно, на Западе и спорят, и сомневаются, и отрицают; но теперь можно сравнивать, можно аргументировать сложной жизнью большого государства. Русской интеллигенции в 1917 - 1918 годах было куда труднее...

Я не оплакивал ни имений, ни заводов, ни акций: я был беден и богатство сызмальства презирал. Смущало меня иное. Я вырос с тем понятием свободы, которое нам досталось от XIX века; со школьных лет я уважал неуважение, прислушивался к голосу ослушников. Я не понимал, что меняются не только порядки, но и понятия, новый век многое принес и многое унес, а я пытался подойти к завтрашнему со вчерашней меркой.

Впрочем, и это не главное. Если говорить честно, я еще не знал, что такое жизнь, хотя мне было уже двадцать шесть лет. Оговорки, описки, ошибки мешали мне понять значение текста. Я замечал много уродливого, видел злобу, невежество, но не видел главного: осуществлялось то, о чем я мечтал подростком, что мерещилось мне в тюремных камерах. Жизнь никогда не похожа на мечты. Гадалки говорят про «линию жизни»; такая линия действительно существует - не на ладони, а в судьбе человека, и чем раньше ее увидишь, осознаешь, тем легче будет преодолеть сомнения. Эта линия складывается не только из высоких идей, но и из реальных событий, не только из притяжений, но и из отталкиваний, не только из страстных чувств, но и из раздумий. Менее всего я хочу этим сказать, что, по ходячему определению, цель оправдывает средства, я слишком хорошо знаю, что средства могут изменить любую цель. Я думаю только о верности линии жизни - человека, народа, века.

Потом мне, как и всем моим современникам, пришлось пережить немало испытаний; я оказался к ним подготовленным: в сорок шесть лет линия жизни мне была куда яснее, чем в двадцать шесть... Я знал, что нужно уметь жить, сжав зубы, что нельзя подходить к событиям, как к диктовке, только и делая, что подчеркивая ошибки, что путь в будущее - не накатанное шоссе. Как сказал поэт Твардовский, «тут ни убавить, ни прибавить» - в истории, как и в жизни отдельного человека, много горьких страниц, не все разворачивается так, как хотелось бы... Теперь каждому ясно, какой подвиг совершил наш народ в нищей, темной, голодной стране, когда осенью 1917 года пошел по новому, непроторенному пути. А тогда не только я, но и многие писатели старшего поколения, да и мои сверстники не понимали масштаба событий. Но именно тогда молодой петроградский поэт; которого считали салонным, ложноклассическим, далеким от жизни, тщедушный и мнительный Осип Эмильевич Мандельштам написал замечательные строки:

Ну, что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,

Скрипучий поворот руля.

Земля плывет. Мужайтесь, мужи.

Как плугом, океан деля,

Мы будем помнить и в летеиской стуже,

Что десяти небес нам стоила земля.

Впрочем, обо всем этом мне еще придется говорить - и о Мандельштаме, и об огромном повороте руля, и, главное, о той земле, которая нам стоила десяти небес.

Вскоре после моего приезда в Москву я встретил Б. Л. Пастернака, который повел меня к себе (жил он тогда возле Пречистенского бульвара). В моей записной книжке есть короткая пометка: «Пастернак. Стихи. Странность, Лестница».

Беру другую записную книжку, 5 июля 1941 года. После слов «немцы говорят, что перешли Березину» и до «5 ч. Лозовский» записано: «Пастернак. Безумие».

1917 - 1941... В течение двадцати четырех лет я встречался с Пастернаком, порой редко, порой чуть ли не каждый день. Казалось, это достаточный срок для того, чтобы узнать даже очень сложного человека; но зачастую Борис Леонидович мне казался таким же загадочным, как при первой встрече; этим объясняется и запись 1941 года. Я его любил, любил и люблю его поэзию; из всех поэтов, которых я встречал, он был самым косноязычным, самым близким к стихии музыки, самым привлекательным и самым невыносимым. Я попытаюсь описать его таким, каким видел и понимал. Это будет главным образом Пастернак 1917 - 1924 годов, когда мы подолгу беседовали, переписывались. Мы встречались довольно часто и в 1926, 1932, 1934 годах - в Москве, в 1935 году в Париже, потом снова в Москве - накануне войны, в ее первые недели. Мы не поссорились, а как-то молча разошлись; случайно встречаясь, жали друг другу руки, говорили, что нужно обязательно повидаться, и расставались до новой случайной встречи. Конечно, я не надеюсь показать всего Пастернака, даже молодого,- многого в нем я не понимал, многого и не знал; но то, что я напишу, будет не иконой и не шаржем, а попыткой портрета.

Начну с самого начала. Когда мы познакомились, Борису Леонидовичу было двадцать семь лет, и было это летом того года, когда, по словам Пастернака,

Все жили в сушь и впроголодь.

В борьбе ожесточась,

И никого не трогало,

Что чудо жизни с час.

Я был растерян и мрачен, Пастернак радостен, приподнят. Тот год был для него особенно памятным:

Он незабвенен тем еще,
Что пылью припухал,
Что ветер лускал семечки.
Сорил по лопухам.
Что незнакомой мальвою
Вел, как слепца, меня,
Чтоб я тебя вымаливал
У каждого плетня.

В тот год Пастернак узнал большое чувство, рождалась книга «Сестра моя жизнь». Вот как я описал нашу первую встречу: «Он читал мне стихи. Не знаю, что больше меня поразило: его стихи, лицо, голос или то, что он говорил. Я ушел, полный звуков, с головной болью. Дверь внизу была заперта - я засиделся до двух. Я поискал швейцара, его не оказалось. Я пошел назад, но не смог разыскать квартиру, где жил Пастернак. Это был дом с переходами, коридорами и полуэтажами. Я понял, что мне не выбраться до утра, и покорно сел на ступеньку. Лестница была чугунная, под ногами копошилась ночь. Вдруг дверь открылась. Я увидел Пастернака. Ему не спалось, он вышел погулять. Я просидел добрый час возле той самой квартиры, где он жил. Он нисколько не удивился, увидав меня; я тоже не удивился».

Борис Леонидович часто говорил междометиями. Есть у него стихотворение «Урал впервые»; оно похоже на восторженное мычание. Сила его ранней поэзии - это жизнь впервые. Он отнюдь тогда не слыл отшельником, охотно встречался с людьми, был радостным, и стихи тех лет радостные. Мне он казался счастливым не только потому, что ему был отпущен большой поэтический дар, но и потому, что он умел создать высокую поэзию из будничных деталей. Нас всех в то время подташнивало от чересчур громких слов, которыми злоупотребляли символисты: «вечность», «бесконечность», «безбрежность», «тленный», «бранный», «грани», «жребий», «рок». Пастернак писал:

Всесильный бог деталей.

Всесильный бог любви.

О женщине, которую он любил, он сказал так:

Грех думать - ты не из весталок:
Вошла со стулом,
Как с полки, жизнь мою достала
И пыль обдула.

Он недаром назвал свою книгу «Сестра моя жизнь»: в отличие не только от старших поэтов-символистов, но и от большинства своих сверстников он жил с жизнью в ладу. Реализм его стихов не связан с литературной программой (Пастернак много раз говорил, что ему непонятны различные направления и школы), а продиктован природой поэта. В 1922 году Пастернак писал: «Живой действительный мир это единственный, однажды удавшийся и все еще без конца удачный замысел воображения. Вот он длится, ежемгновенно успешный. Он все еще действителен, глубок, неотрывна увлекателен. В нем не разочаровываешься на другое утро. Он служит поэту примером в большей еще степени, нежели натурой и моделью».

Один юноша недавно сказал мне, что, наверно, Пастернак был мрачным, нелюдимым, да и глубоко несчастным. А я в 1921 году писал о Пастернаке: «Он жив, здоров и современен. В нем ничего нет от осени, от заката и прочих милых, но неутешительных вещей». Год спустя В. Б. Шкловский, встречавшийся с Пастернаком в Берлине, написал: «Счастливый человек. Он никогда не будет озлобленным. Жизнь свою он должен прожить любимым, избалованным и великим».

В 1923 году Маяковский и О. Брик формулировали (на жаргоне эпохи) искания художников: «Маяковский. Опыт полифонического ритма в поэме широкого социально-бытового охвата». «Пастернак. Применение динамического синтаксиса к революционному заданию».

Все это может удивить тех зарубежных читателей, которые узнали о существовании Пастернака только в 1958 году. Им представляется злосчастный человек, вступивший в поединок с историей. На самом деле Пастернак был счастливым, и жил он вне общества не потому, что данное общество ему не подходило, а потому, что, будучи общительным, даже веселым с другими, знал только одного собеседника: самого себя.

В конце 1918 года он восхищался Кремлем:
Несется, грозный, напролом.
Сквозь неистекший в девятнадцатый.

...

За морем этих непогод
Предвижу, как меня, разбитого,
Ненаступивший этот год
Возьмется сызнава воспитывать.

(Пастернак тогда не понимал, что никто на свете не возьмется всерьез его «сызнава воспитывать»)

Позднее, в 1930 году, после самоубийства Маяковского он писал: «...Наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство»; он говорил о кровной связи между этим государством и Маяковским. Он писал восторженные строки все о том же «ломящемся в века» государстве и в 1944 году. Он восхищался со стороны: у каждого, даже самого большого поэта есть не только потолок, но и стены; общество было вне стен того мира, в котором жил Пастернак.

Шкловский в одном ошибался, когда он писал: «Этот счастливый и большой человек чувствовал среди людей, одетых в пальто, жующих бутерброды у стойки «Дома печати»... тягу истории». Пастернак чувствовал природу, любовь, Гёте, Шекспира, музыку, старую немецкую философию, живописность Венеции, чувствовал себя, некоторых близких ему людей, но никак не историю; он слышал звуки, неуловимые для других, слышал, как бьется сердце и как растет трава, но поступи века не расслышал.

Слово «эгоцентризм» столь часто применяли, что оно стерлось, да и есть в нем уничижительный характер, а другого я не нахожу. Борис Леонидович жил не для себя - эгоистом он никогда не был, но он жил в себе, с собой и собой. Я вспоминаю наши давние встречи - два поезда неслись, каждый по своему пути. Я знал, что Пастернак меня слушает, но не слышит: не может оторваться от своих мыслей, своих чувств, своих ассоциаций. Беседы с ним, даже задушевные, напоминали два монолога.

Мне вспомнился забавный эпизод. Пастернак летом 1935 года был в Париже на Конгрессе в защиту культуры. Группа советских писателей приехала раньше, потом, по просьбе французских писателей, дополнительно приехали Пастернак и Бабель. Пастернак сердился, говорил, что не хотел ехать, не умеет выступать. В короткой речи он сказал, что поэзию незачем искать в небе, нужно уметь

нагнуться, поэзия - в траве. Может быть, эти слова, а скорее всего, облик Пастернака поразили аудиторию; ему устроили овацию. Несколько дней спустя он сказал мне, что хотел бы встретиться с некоторыми французскими писателями; мы решили, что пригласим их обедать. Моя жена позвонила Борису Леонидовичу: приходите в такой-то ресторан в час дня. Он возмутился: «Почему так рано? Лучше в три». Люба объяснила, что в Париже обедают между двенадцатью и двумя, а ужинают между семью и девятью, в три часа все рестораны закрыты. Тогда Борис Леонидович заявил: «Нет, в час мне еще не хочется есть...»

Сосредоточенность в себе (возраставшая с годами) не помешала, да и не могла помешать Пастернаку стать большим поэтом. Мы часто, скорее, по привычке говорим, что писатель должен быть наблюдательным. В дневниках А. Н. Афиногенова, недавно опубликованных, есть интересная запись: «Если б искусство писателя состояло в умении наблюдать людей - самыми лучшими писателями были бы доктора и следователи, учителя и проводники вагонов, секретари парткомов и полководцы. Однако - этого нет. Потому что искусство писателя заключается в умении наблюдать себя!» Афиногенов правильно отводит старое понятие «наблюдательности»; в создании героев романа или трагедии огромную роль играет пережитое автором, им осознанное - ведь внутренний мир других людей понятен писателю, только поскольку ему знакомы и, следовательно, понятны те или иные страсти.

Искусство, однако, многообразно. В лирическом стихотворении автор раскрывает себя; как бы ни был он своеобразен, его чувства - восхищение весенним днем или ощущение неизбежности смерти, радость любви или разуверение - понятны тысячам, миллионам других людей. Для того чтобы написать «О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней...», Тютчеву не нужно было наблюдать старейших людей, захваченных страстью, ему достаточно было на пороге старости встретить молодую Е. А. Денисьеву. Молодому А. П. Чехову, для того чтобы в «Скучной истории» показать дружбу между старым профессором и молодой его воспитанницей, нужно было очень хорошо знать людей, их чувства, привычки, характеры, манеру говорить, даже манеру одеваться. Борис Пастернак, один из лучших лирических поэтов нашего времени, был, как и всякий художник,

ограничен своей природой; когда он попытался изобразить в романе десятки других людей, эпоху, передать воздух гражданской войны, воспроизвести беседы в поезде, он потерпел неудачу - он видел и слышал только себя.

Его привлекали, особенно в конце жизни, загадки чужих судеб. В одной из написанных им автобиографий он попытался понять, что пережили в последние минуты Маяковский, Марина Цветаева, Фадеев. Когда я читал эти догадки, мне было как-то неловко: у Бориса Леонидовича было очень богатое сердце, но ключей к чужим сердцам у него не было.

Я не берусь строить домыслы о том, что он сам пережил в последние годы своей жизни; я его не встречал; да, может, и встречая, не знал бы - чужая душа потемки. Не знаю, почему в той же автобиографии он отсекся от своей давней дружбы с Маяковским. А мне хочется рассказать об этой дружбе: я был ее свидетелем.

Шутя, мы говорили, что у Маяковского второй, запасной голос для женщин. И вот этим вторым голосом, необычно мягким, ласковым, при мне он разговаривал только с одним мужчиной - с Пастернаком. Помню, в марте 1921 года в Доме печати был литературный вечер Бориса Леонидовича, читал он сам, а потом его стихи читала молоденькая актриса В. В. Алексеева-Месхиева. При обсуждении кто-то осмелился, как у нас говорят, «отметить недостатки». Тогда встал во весь рост Маяковский и в полный голос начал прославлять поэзию Пастернака; он защищал его с неистовством любви.

В «Охранной грамоте» (1930 год) Пастернак говорит о своем отношении к Маяковскому накануне войны, в годы войны, в первые годы революции: «я был без ума от Маяковского», «я его боготворил», «вершиной поэтической участи был Маяковский», «я почти радовался случаю, когда впервые как с чужим говорил со своим любимцем» (после одной из размолвок), «я присутствие Маяковского ощущал с двойной силой. Его существо открывалось мне во всей свежести первой встречи».

Размолвки были частыми и бурными. Борис Леонидович иногда мне рассказывал о них. У меня сохранился сборник «Современник» (1922 год) с такой надписью Пастернака: «Другу и соратнику с благодарностью и радостью за «Хуренито», восхищение которым

объединило редко на чем сходившихся и чаще разбредавшихся Маяковского, Асеева и других друзей и соратников».

После одной из размолвок Маяковский и Пастернак встретились в Берлине; примирение было столь же бурным и страстным, как разрыв. Я провел с ними весь день: мы пошли в кафе, потом обедали, снова сидели в кафе. Борис Леонидович читал свои стихи. Вечером Маяковский выступал в Доме искусств, читал он «Флейту-позвоночник», повернувшись к Пастернаку.

Впоследствии их пути разошлись. Однако и в 1926 году Маяковский, приводя четверостишие Пастернака «В тот день всю тебя от гребенок до ног», назвал его «гениальным». Рассказывая о смерти Маяковского, Пастернак писал: «Я разреvelся, как мне давно хотелось».

Почему, оглядываясь на свое прошлое, Пастернак попытался многое перечеркнуть? Может быть, в этом сказалось недовольство собой? Не знаю. Для меня его последние стихи тесно связаны с «Сестрой моей жизнью», а он, видимо, ощущал разрыв. Недавно я прочитал письмо Бориса Леонидовича одному из его французских переводчиков, опубликованное в журнале «Эспри». Борис Леонидович пытался убедить переводчика не опубликовывать переводов некоторых его старых произведений. Рассказывали, что, когда с ним заговаривали о его прежних книгах, он уверял, что все написанное прежде было только школой, подготовкой к тому единственно стоящему, что он недавно написал, - к роману «Доктор Живаго».

Прочитав рукопись «Доктора Живаго», я огорчился. Когда-то Пастернак писал: «Неумение найти и сказать правду - недостаток, которого никаким умением говорить неправду не покрыть». В романе есть поразительные страницы - о природе, о любви; но много страниц посвящено тому, чего автор не видел, не слышал. К книге приложены чудесные стихи, они как бы подчеркивают душевную неточность прозы.

Никогда прежде мне не удавалось убедить зарубежных ценителей поэзии в том, что Пастернак большой поэт: (Это, конечно, не относится к некоторым крупным поэтам, знавшим русский язык: Рильке еще в 1926 году восторженно говорил о стихах Пастернака.) Слава пришла к нему с другого хода. Когда-то он писал:

Но ты мне шепнул, вестовой, неспроста,

В посаде, куда ни один двуногий...

Я тоже какой-то... Я сбился с дороги:

– Не тот этот город, и полночь не та.

Я был в Стокгольме, когда разразилась буря вокруг Нобелевской премии. Я выходил на улицу и видел афиши газет, на них стояло одно имя; пытался что-то понять, открывал радио - и только одно понимал: «Пастернак»... Это было одним из эпизодов «холодной войны». Не тот город, не та полночь. Да и не та слава, которую заслужил Пастернак. (Обо всем этом я расскажу в одной из последующих частей моей книги - ведь связь газетной бури с Пастернаком была случайной, дело относится к летописи «холодной войны».)

Нужно ли добавить, как тяжело было мне читать некоторые выступления моих товарищей? Я убежден, что в помыслах Пастернака не было нанести ущерба нашей стране. Виноват он только в том, что был Пастернаком, то есть изумительно понимая одно, не мог понять другого. Он не подозревал, что из его книги создадут дурную политическую сенсацию и что на удар неизбежно последует ответный.

Все это позади: смерть ставит вещи на свое место. Вряд ли кто-нибудь теперь, перечитывая стихи Пастернака, будет думать о печальной истории, воистину злободневной - и злоба в ней сказалась, и была она историей-однодневкой. А стихи остались.

Когда-то составители поэтических сборников любили прибегать к делению по сюжету. Если подойти к Пастернаку с такой меркой, то большинство его стихотворений окажется посвященным природе и любви; но мне думается, что основной, постоянной его темой было искусство, то есть та тема, которая породила «Портрет» Гоголя, «Неведомый шедевр» Бальзака, «Чайку» Чехова.

О, знал бы я, что так бывает,

Когда пускался на дебют,

Что строчки с кровью - убивают,

Нахлынут горлом и убьют!

И кончил он эти стихи о стихах признанием:

И тут кончается искусство,

И дышат почва и судьба.

Он не застрелился, не умер молодым, но цену, которой оплачивается искусство, узнал сполна - силу строк, которые

медленно, настойчиво убивают.

Поль Элюар как-то сказал: «Поэт должен быть ребенком, даже если у него седые волосы и склероз сосудов». Было в Пастернаке нечто детское. Его определения, казавшиеся наивными, ребячливыми,- определения поэта. Он сказал об одном авторе: «Ну как же он может быть хорошим поэтом, когда он плохой человек...» Увидав впервые Париж, он воскликнул: «Да это и не похоже на город, это скорее пейзаж...» Он говорил: «Описать весеннее утро легко, да это никому и не нужно, а вот быть простым, ясным и внезапным, как весеннее утро,- это чертовски трудно...»

В то время, о котором я теперь рассказываю, когда я ходил растерянный, неприкаянный, Борис Леонидович был для меня и порукой живучести искусства, и мостком к живой жизни. Молодой, веселый, красивый, похожий на вдохновенного араба - таким он мне навсегда запомнился, хотя я его и видел постаревшим, седым.

Так уж полвека - вдруг начинаю про себя бормотать стихи Пастернака. Из мира их не выгонишь: они живут...

Не помню, кто меня познакомил с Маяковским; сначала мы сидели в каком-то кафе и говорили о кино; потом он повел меня к себе - в маленький номер мебелирашек «Сан-Ремо» в Салтыковском переулке, около Петровки. Незадолго до этого я прочитал его книгу «Простое как мычание»; он мне представлялся именно таким, каким я его увидел,- большим, с тяжелой челюстью, с глазами то печальными, то суровыми, громким, неуклюжим, готовым в любую минуту вмешаться в драку,- сочетанием атлета с мечтателем, средневекового жонглера, который, молясь, ходил на голове, с непримиримым иконоборцем.

Когда мы шли в гостиницу, он бубнил эпитафию Франсуа Вийона, написанную в ожидании виселицы:

Я - Франсуа, чему не рад,
Увы, ждет смерть злодея,
И сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея.

Едва мы вошли в номер, как он сказал: «Сейчас я вам прочитаю...» Я сел на стул, он стоял. Он прочитал мне незадолго до этого законченную поэму «Человек». Комната была маленькой, никого, кроме меня, не было, но читал он так, как будто перед ним толпа на Театральной площади. Я глядел на гнусные обои и улыбался: голенища действительно становились арфами.

Маяковский меня поразил: в нем уживались поэзия и революция, взбудораженные улицы Москвы и то новое искусство, о котором мечтали завсегдатаи «Ротонды». Мне даже показалось, что он может помочь мне найти правильный путь. Случилось иначе: Маяковский для меня огромное явление и в поэзии и в жизни века; но непосредственно на меня он никак не повлиял, оставался близким и одновременно бесконечно далеким.

Может быть, в этом особенность гения, может быть, особенность характера Маяковского - он говорил, что поэты должны быть «разными», был вдохновителем «Лефа», «Нового лефа», «Рефа», хотел привлечь многих, объединить, но вокруг него оказывались только его

приверженцы, порой эпигоны. Он рассказал, как на даче под Москвой он беседовал с Солнцем; он сам был солнцем, вокруг которого кружились спутники.

Я встречался с ним и в Москве - в 1918 году, в 1920-м, и в Берлине в 1922-м, и в Париже, и снова в Москве, и снова в Париже (в последний раз мы виделись весной 1929 года - за год до его смерти). Порой встречи были беглыми, порой значительными. Мне хочется рассказать о моем понимании Маяковского; я знаю, что этот рассказ будет односторонним, субъективным, но могут ли быть иными показания современника? Из множества различных, порой противоречивых рассказов легче воссоздать облик человека. Беда в том, что Маяковский, будучи страстным разрушителем различных мифов, с необычайной быстротой превратился в мифического героя. Ему как будто положено быть не таким, каким он был. Есть воспоминания очевидцев, запомнивших несколько свирепых шуток. Есть страницы школьного учебника. Есть, наконец, статуя. Подросток зубрит отрывки из «Хорошо!». Домохозяйка в троллейбусе озабоченно спрашивает: «Вы на Маяковской сходите?..» Трудно говорить о человеке...

До середины тридцатых годов Маяковский вызывал страстные споры. Во время Первого съезда советских писателей, когда кто-либо произносил его имя, одни страстно аплодировали, другие молчали; я тогда писал в «Известиях»: «Не потому аплодировали мы, что кто-то захотел канонизировать Маяковского,- мы аплодировали потому, что имя Маяковского означает для нас отказ от всех литературных канонов». Менее всего я мог себе представить, что год спустя Маяковского действительно начнут канонизировать. Я не был на его похоронах. Друзья рассказывали, что гроб был слишком коротким. Мне кажется, что слишком короткой, а главное, слишком узкой оказалась для Маяковского его посмертная слава.

Я прежде всего хочу рассказать о человеке; он отнюдь не был «монолитом» - большой, сложный, с огромной волей и с клубком порой противоречивых чувств.

«Мертвые остаются молодыми» - так назвала свой роман Анна Зегерс. Почти всегда более поздние впечатления заслоняют первоначальные. Я попытался в этой книге рассказать о молодом А. Н. Толстом; он был одним из первых писателей, с которым я

встретился. Но часто, думая о нем, я вижу его грузным, признанным, с громким смехом и с утомленными глазами - таким, каким видел его в последние годы. Вот я гляжу на фотографию - рядом с Маяковским А. А. Фадеев, молодой, мечтательный, с мягкими глазами. Мне очень трудно припомнить Александра Александровича таким: я вижу волевые, порой холодные глаза... А Маяковский остался в памяти молодым.

До конца жизни он сохранял некоторые черты, может быть вернее сказать, некоторые привычки своей ранней молодости. Критики не любят задерживаться на так называемом «футуристическом периоде» Маяковского, хотя без его первых стихов непонятны его поэмы. Но я сейчас говорю не о поэзии, а о человеке. Конечно, Маяковский быстро расстался не только с желтой кофтой, но и с лозунгами ранних футуристических манифестов. Однако в нем остался тот дух, который продиктовал «Пощечину общественному вкусу», - в манере себя держать, в шутках, в ответах на записки.

Помню «Кафе поэтов» зимой 1917/18 года. Помещалось оно в Настасьинском переулке. Это было очень своеобразное место. Стены были покрыты диковинной для посетителей живописью и не менее диковинными надписями.

Я люблю смотреть, как умирают дети - эта строка из раннего, дореволюционного стихотворения Маяковского красовалась на стене для того, чтобы ошарашить проходящих. «Кафе поэтов» никак не походило на «Ротонду» - здесь никто не разговаривал об искусстве, не спорил, не терзался, имелись актеры и зрители. Посетителями кафе были, по тогдашнему выражению, «недорезанные буржуи» - спекулянты, литераторы, обыватели, искавшие развлечений. Маяковский вряд ли их мог развлечь: хотя многое в его поэзии им было непонятно, они чувствовали, что есть тесная связь между этими странными стихами и матросами, прогуливавшимися по Тверской. А песенку, сочиненную Маяковским о буржуе, который напоследок ест ананасы, понимали все; ананасов в Настасьинском переулке не было, но кусок вульгарной свинины застревал у многих в горле. Развлекало посетителей другое. На эстраду, например, подымался Давид Бурлюк, сильно напудренный, с лорнеткой в руке, и читал:

Мне нравится беременный мужчина...

Оживлял публику также Гольцшмидт; на афишах он именовался «футуристом жизни», стихов не писал, а золотил порошком два локона на голове, отличался необычайной силой, ломал доски и вышибал из кафе скандалистов. Однажды «футурист жизни» решил поставить себе памятник на Театральной площади; статуя была гипсовая, не очень большая и отнюдь не футуристическая - стоял голый Гольцшмидт. Прохожие возмущались, но, не решались посягнуть на загадочный монумент. Потом статую все же разбили.

Все это дела далекого прошлого. Года два назад в Москву приехали американские туристы - Давид Бурлюк с женой. Бурлюк в Америке рисует, прилично зарабатывает, стал почтенным, благообразным; нет ни лорнетки, ни «беременного мужчины». Футуризм мне теперь кажется куда более древним, чем Древняя Греция. Но для Маяковского, который рано умер, он оставался если не живым, то близким.

В «Кафе поэтов» я довольно часто бывал, даже как-то выступил и получил от Гольцшмидта причитавшиеся мне за это деньги.

Помню вечер, когда в кафе пришел А. В. Луначарский. Он скромно сел за дальний столик, слушал. Маяковский предложил ему выступить. Анатолий Васильевич отказывался. Маяковский настаивал: «Повторите то, что вы мне говорили о моих стихах...» Луначарскому пришлось выступить: он говорил о таланте Маяковского, но критиковал футуризм и упомянул о ненужности саморасхваливания. Тогда Маяковский сказал, что вскоре ему поставят памятник - вот здесь, где находится «Кафе поэтов»... Владимир Владимирович ошибся всего на несколько сот метров - памятник ему поставлен недалеко от Настасьинского переулка.

Нескромность? Самоуверенность? Такие вопросы часто ставили многие современники Маяковского. Он отпраздновал, например, двенадцатилетний юбилей своей поэтической деятельности. Он не раз называл себя самым большим поэтом. Он требовал прижизненного признания - это было связано с эпохой, с тем низвержением «идолов», на которое жаловался Бальмонт, с желанием любым способом привлечь внимание к искусству.

Я люблю смотреть, как умирают дети...

Маяковский не мог видеть, как бьют лошадь. Однажды в кафе мой знакомый порезал себе ножиком палец - Владимир Владимирович

поспешно отвернулся. Самоуверенный? Да, конечно, он резко отвечал на критические замечания, оскорблял своих литературных противников. Помню такой диалог. Записка: «Ваши стихи не греют, не волнуют, не заражают». Ответ: «Я не печка, не море, не чума». На своих книгах он надписывал читателям: «Для внутреннего употребления». Все это общеизвестно. Менее известно другое.

Помню вечер Маяковского в парижском кафе «Вольтер». На нем присутствовала Л. Н. Сейфуллина. Было это весной 1927 года. Кто-то в зале крикнул: «Почитайте теперь ваши старые стихи!» Маяковский, как всегда, отшутился. Когда вечер кончился, мы пошли в ночное кафе возле бульвара Сен-Мишель: Маяковский, Л. Н. Сейфуллина, Э. Ю. Триоле, другие. Играла музыка, кто-то танцевал. Владимир Владимирович то шутил, изображал поэта Георгия Иванова, присутствовавшего на вечере, то надолго замолкал, мрачно оглядываясь по сторонам, как лев в клетке. Мы с ним условились, что на следующее утро, чем раньше, тем лучше, я к нему зайду. В крохотном номере гостиницы «Истрия», где он всегда останавливался, постель была не раскрыта - он не ложился. Встретил он меня мрачный и сразу, не поздоровавшись, спросил: «Вы тоже думаете, что я раньше писал лучше?..» Никогда он не был самоуверенным; обманывала раз и навсегда затверженная поза. Мне думается, что такая поза была продиктована скорее разумом, нежели характером. Ему была свойственна романтика, но он ее стыдился, обрывал себя: «Кто над морем не философствовал?» (после горьких раздумий о своей жизни), и тотчас ироническое «вода». В статье «Как делать стихи» все выглядит логично и просто. На самом деле Маяковский хорошо знал те мучения, которые неизменно связаны с творчеством. Он подробно рассказывал о заготовках рифм: были у него и другие «заготовки», о которых он не любил говорить,- душевные терзания. Он написал в предсмертном стихотворении, что «любовная лодка разбилась о быт» - это было данью много раз им осмеянной романтике; на самом деле его жизнь разбилась о поэзию. Обращаясь к потомкам, он сказал то, чего не хотел говорить современникам:

Но я себя смирял, становясь на горло собственной песне.

Он казался чрезвычайно крепким, здоровым, жизнерадостным. А был он порой несносно мрачным; отличался болезненной мнительностью: носил в кармане мыльницу и, когда приходилось

пожать руку человеку, который был ему почему-то физически неприятным, тотчас уходил и тщательно мыл руки. В парижских кафе он пил горячей кофе через соломинку, которую подавали для ледяных напитков, чтобы не касаться губами стакана. Он высмеивал суеверия, но все время что-то загадывал, обожал азартные игры - орел и решку, чет или нечет. В парижских кафе были автоматы-рулетки; можно было поставить пять су на красный, зеленый или желтый цвет; при выигрыше выпадал жетон для оплаты чашки кофе или кружки пива. Маяковский часами простаивал у этих автоматов; уезжая, он оставлял Эльзе Юрьевне сотни жетонов; жетоны ему были не нужны, ему нужно было угадать, какой цвет выйдет. Он и в барабане револьвера оставил одну пулю - чет или нечет...

Когда Владимир Владимирович разговаривал с женщинами, его голос менялся, обычно резкий, настойчивый, становился мягким. Я прочитал в книге Виктора Шкловского: «Владимир Владимирович поехал за границу. Там была женщина, могла быть любовь. Рассказывали мне, что они были так похожи друг на друга, так подходили друг к другу, что люди в кафе благодарно улыбались при виде их...» Недавно было опубликовано стихотворение Маяковского, обращенное к Т. А. Яковлевой, о которой упоминал Шкловский. А у меня сохранилась рукопись «Клопа», подаренная Маяковским Тате (Т. А. Яковлевой), выкинутая Татой за ненужностью. Нет, она не походила на Маяковского, хотя была, как он, высокого роста, красива. Я не хочу рассказывать о том, что Маяковский справедливо называл «сплетнями»; и упомянул я об этом эпизоде (отнюдь не самом значительном в жизни поэта) только для того, чтобы еще раз показать, как не походил живой Маяковский на бронзовую статую или на богатыря Владимира Красное Солнышко.

Маяковский, когда ему было восемнадцать лет, поступил в училище живописи - хотел стать художником. Он сохранил живописное видение мира и в поэзии: его образы не придуманы, но увидены. Он любил живопись, чувствовал ее; любил и среду художников. Мир он скорее видел, чем слышал. (Шутя он говорил, что слон ему наступил на ухо.)

Я упоминал о вечере у Цетлиных, когда Маяковский читал «Человека». Вячеслав Иванов иногда благожелательно кивал головой. Бальмонт явно томился. Балтрушайтис, как всегда, был непроницаем.

Марина Цветаева улыбалась, а Пастернак влюбленно поглядывал на Владимира Владимировича. Андрей Белый слушал не просто - иступленно и, когда Маяковский кончил чтение, вскочил настолько взволнованный, что едва мог говорить. Его восторг разделяли почти все присутствовавшие. Но Маяковского рассердила чья-то холодная, вежливая фраза. Так с ним всегда бывало: он как бы не замечал лавров, искал тернии. В его стихах непрерывные бон с реальными и воображаемыми противниками новой поэзии. Что скрывалось за этими обвинениями? Может быть, спор с самим собой?

Мне привелось читать некоторые статьи о Маяковском, написанные за границей, авторы которых пытаются доказать, что революция погубила поэта. Трудно придумать большую нелепость: без революции не было бы Маяковского. В 1918 году он меня справедливо обозвал «испуганным интеллигентом»; мне понадобилось два года, для того чтобы понять происходящее. А Маяковский революцию сразу понял и принял. Он был не только увлечен - поглощен строительством социалистического общества. Он ни к чему не приспособливался и, когда некоторые хотели его приручить, огрызался:

«Лицом к деревне» - заданье дано,- за гусли, поэты-друзи!

Поймите ж - лицо у меня одно - оно лицо, а не флюгер...

Идею нельзя замешать на воде.

В воде отсыреет идея.

Поэт никогда и не жил без идей.

Что я - попугай? индейка?

Никогда у него не было конфликта с революцией; это выдумка людей, которые не брезгают ничем в борьбе против коммунизма. Драма Маяковского была не в разладе между революцией и поэзией, а в отношении лефовцев к искусству:

Пусть ропщут поэты, слюною плеща, губою презрение вымеив.

Я,

душу похерив, кричу о вещах, обязательных при социализме.

(Газета в свое время изменила несколько слов: «Я, душу не снизив» вместо «я, душу похерив».) Стихотворение это - свидетельство поэтического и человеческого подвига Маяковского.

Маяковский любил Леже; было нечто общее в их понимании роли искусства в современном обществе. Леже увлекался машинами, урбанизмом, хотел искусства в повседневном быту, не заходил в музеи. Он писал свои холсты и создал хорошую живопись, на мой взгляд, декоративную, никак не подрывающую нашу любовь к Ван Гогу или Пикассо, но, бесспорно, связанную с новым временем. Маяковский в течение ряда лет боролся против поэзии не только в манифестах или в статьях - хотел стихами уничтожить стихи. В «Лефе» был напечатан смертный приговор искусству - «так называемым поэтам», «так называемым художникам», «так называемым режиссерам». Художникам рекомендовалось вместо станковой живописи заняться эстетикой машин, текстилем, утварью; режиссерам - организовывать народные празднества, демонстрации и распрощаться с рампой; поэтам - оставить лирику, писать для газет, подписывать плакаты, сочинять рекламы.

Отказаться от поэзии оказалось нелегко. Маяковский был человеком сильным и мужественным. Однако порой и он отступал от своей программы. В 1923 году, когда «Леф» еще отрицал лирику, Маяковский написал поэму «Про это». Ее не поняли даже близкие, ее поносили и союзники Маяковского, и его литературные противники, но ею он обогатил русскую поэзию.

С годами его отрицание прошлого искусства слабело. В конце 1928 года «Новый леф» сообщал, что Маяковский публично заявил: «Я амнистирую Рембрандта». Еще раз напомним - он умер молодым. Он жил, думал, чувствовал, да и писал не по плану - прежде всего он был поэтом. Помню, с каким восхищением он говорил о новой, индустриальной красоте Америки в те далекие годы, когда электрификация нашей страны была еще только замыслом, когда на Театральной площади, темной, занесенной снегом, горели тусклые

лампочки: «Дети - цветы жизни». Я встретил его, когда он вернулся из Америки. Да, конечно, Бруклинский мост хорош, да, там много машин. Но сколько там дикости, бесчеловечности! Он ругался, говорил, как обрадовался, увидев крохотные садики Нормандии. Из программы «Лефа» вытекало и отрицание Парижа, где каждый дом - обломок старины, и восхваление сугубо новой, индустриализованной Америки. Но Маяковский проклинал Америку и, не стыдясь показаться сентиментальным, объяснялся в любви Парижу. Откуда такое противоречие? Да, «Леф» был журналом, просуществовавшим несколько лет, а Маяковский был большим поэтом. В декларативных стихах он издевался над поклонниками Пушкина, над посетителями Лувра, а его восхищали и строфы «Онегина», и старая живопись.

Он сразу понял, что Октябрьская революция переменяла ход истории, но детали будущего видел условно: не на полотне - на плакате. Нам трудно теперь соблазниться гигиенической идиллией последнего действия «Клопа». Искусство прошлого представлялось Маяковскому не столько чуждым, сколько обреченным. Его иконоборчество было обетом, подвигом. Он вел бой не только с тем или иным критиком, не только с авторами чувствительных романсов, но и с самим собой. Он написал:

Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят - что ж?!

По родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь.

Он зачеркнул эти строки, найдя их чересчур чувствительными. А родная страна его поняла, поняла также выброшенные им прекрасные стихи...

Я вспоминаю его осенью 1928 года - он пробыл тогда больше месяца в Париже. Мы часто встречались. Вижу его мрачным в маленьком баре «Куполь». Он заказывал виски марки «уайт хорс» («белая лошадь»); пил он мало, но сочинил песенку:

Хорошая лошадь

«уайт хорс».

Белая грива, белый хвост...

Как-то он сказал: «А вы думаете, это легко?.. Я мог бы писать стихи лучше их всех...» Он был до конца предан своей идее.

Много говорили, почему он покончил с собой,- то про неудачи с выставкой его литературных работ, то про нападки рапповцев, то про сердечные дела. Мне не по душе догадки: я не могу подойти к жизни

человека, которого я знал, как подходят к плану романа... Хочу сказать одно: люди часто забывают, что поэт обладает обостренной чувствительностью, на то он поэт. Владимир Владимирович себя называл «волоом», даже «волищем», о своих стихах говорил, что они «бегемоты», на одном собрании сказал, что у него «слоновая шкура», которой не пробить никакой пулей. На самом деле он жил и без обыкновенной человеческой кожи.

По христианским легендам, язычник, уверовав в Христа, начал крушить статуи богов и богинь. Статуи были совершенны, но неофит сумел побороть в себе чувство прекрасного. Маяковский сокрушал не только красоту прошлого, но и себя самого; в этом величие его подвига, в этом и ключ к его трагедии.

Был в Петербурге литератор Андрей Левинсон, который считался знатоком хореографии. В 1918 году в журнале «Жизнь искусства» он опубликовал пасквиль на Маяковского. Ему тогда ответили и многие художники, и А. В. Луначарский. Андрей Левинсон уехал в Париж. Когда пришло известие о трагической смерти Маяковского, он напечатал в газете «Le нувель литтерер» отвратительную клеветническую заметку. Вместе с несколькими французскими писателями я составил письмо в редакцию этой газеты, выражавшее наше негодование. Под письмом подписались все пристойные писатели Франции самых различных воззрений; не помню, чтобы кто-нибудь отказался поставить свою подпись. Я отнес письмо редактору Морису Мартен дю Гару. (Это был малопримечательный литератор, никак не похожий на большого писателя Роже Мартен дю Гара.) Редактор спокойно прочитал чрезвычайно резкое письмо и сказал: «Я попрошу вас сделать одно маленькое изменение». Я ответил, что текст не может быть смягчен. «Я этого и не прошу. Но, может быть, вы прибавите во фразе «мы возмущены тем, что литературная газета» два слова - «самая крупная литературная газета». Он соглашался получить пощечину, но просил отметить, что щека у него большая. Маяковский об этом, наверно, хорошо бы написал...

Необычайна судьба Маяковского в мире. Совсем недавно мне говорили о нем писатели Черной Африки - он дошел и туда. Он обходит мир. Конечно, стихи с трудом поддаются переводу, да и многое в той форме, которую Маяковский утверждал как форму будущего, стало формой прошлого. Но, человек и поэт, он по-

прежнему молод. Ни Арагон, ни Пабло Неруда, ни Элюар, ни Тувим, ни Незвал никогда не писали «под Маяковского»; но все они многим Маяковскому обязаны - он научил их не новым формам стихосложения, а мужеству выбора.

Нужно уметь отделить современность от злободневности, дух новаторства от тех или иных новинок, которые четверть века спустя кажутся старомодными. Один поэт несколько месяцев назад сказал мне, что после сложных рифм Маяковского нельзя употреблять глагольные рифмы. Это, конечно, наивно. Можно писать и глагольными рифмами, и вовсе без рифм. В 1940 году девять десятых начинающих поэтов писали стихи «лесенкой», теперь подражают другим образцам: моды меняются. Маяковского били по голове книгами Пушкина, Некрасова, Блока. Стоит ли дубасить молодых томами Маяковского?

Я говорил, что Маяковский мог бы мне помочь во многом разобраться. Помню ночной разговор; было это в феврале или в марте 1918 года. Мы вышли вместе из «Кафе поэтов». Маяковский расспрашивал про Париж, про Пикассо, про Аполлинера. Потом он сказал, что ему понравились мои стихи о казни Пугачева. «Вам бы радоваться, а вы скулите... Нехорошо!» Я охотно согласился: «Конечно, плохо». Политически он был прав, я это вскоре понял; но мы всегда думали и чувствовали по-разному. В 1922 году он говорил мне, что «Хуренито» ему понравился: «Вы поняли многое лучше других...» Я засмеялся: «А по-моему, я все еще ничего не понимаю...» Мы часто встречались и ни разу не встретились.

О Маяковском я думал и думаю; иногда спорю с ним, но всегда восхищаюсь его поэтическим подвигом. На статую я не пляжу - статуя стоит на месте; а Маяковский идет - и по новым кварталам Москвы, и по старому Парижу, по всей нашей планете идет с «заготовками» - не новых рифм, а новых дум и чувств...

Каждое утро обыватели тщательно изучали наклеенные на стены, еще старые, топорщившиеся декреты: хотели знать, что разрешается, что запрещено. Однажды я увидел толпу возле листка, который назывался «Декретом № 1 о демократизации искусств». Кто-то читал вслух: «Отныне вместе с уничтожением царского строя отменяется проживание искусства в кладовых, сараях человеческого гения - дворцах, галереях, салонах, библиотеках, театрах». Бабка взвизгнула: «Батюшки, сараи отбирают!..» Очкастый человек, читавший декрет вслух, разъяснил: «Про сараи ничего не сказано, а вот библиотеки закроют, ну и театры, конечно...» Листок был сочинением футуристов, и внизу значились подписи: Маяковский, Каменский, Бурлюк. Имена ничего не говорили прохожим, зато все знали магическое слово «декрет».

Вспоминаю 1 мая 1918 года. Москва была изукрашена футуристическими и супрематистскими полотнами. На фасадах облупленных домов, ампирных особняков с колоннами обезумевшие квадраты воевали с ромбами; пестрели лица с треугольниками вместо глаз. (Искусство, которое теперь именуется «абстрактным» и вызывает немало споров как у нас, так и на Западе, тогда выдавалось советским гражданам в неограниченном размере.) Первое мая совпало в тот год со страстной пятницей. Возле Иверской часовни толпились молящиеся. Мимо них проезжали грузовики (бывшие фирмы Ступина), задрапированные беспредметными холстами; актеры на грузовиках изображали различные сцены: «Подвиг Степана Халтурина» или «Парижскую коммуну». Одна старушка, глядя на кубистическое полотно с огромным рыбьим глазом, причитала: «Хотят, чтобы мы дьяволу поклонялись...»

Я смеялся, но смех был невеселым.

Сейчас я перечитал мою статью, напечатанную летом 1918 года в газете «Понеделник» и озаглавленную «Среди кубистов»; в ней я рассказывал о Пикассо, Леже, Ривере. Я говорил, что можно рассматривать произведения этих художников как «сумасшедшие

орнаменты готового рухнуть дома или как фундамент иного, еще невиданного даже в творческом сне строения».

Конечно, не случайно Пикассо, Леже, Ривера стали коммунистами. В 1918 году на Красной площади оказались не художники академического направления, а футуристы, кубисты, супрематисты. Что же меня смущало в торжестве тех художников и поэтов, которые напоминали (хотя бы внешне) лучших друзей моей ранней молодости?

Прежде всего - отношение к искусству прошлого. Всем известно, что Маяковский рос, менялся, но в то время он был страстным иконоборцем:

Белогвардейца найдете - и к стенке.

А Рафаэля забыли?

Забыли Растрелли вы?

Время пулям по стенке музеев тенькать.

Студиймовками поток старье расстреливай!

...Выстроили пушки по опушке, глухи к белогвардейской ласке.

А почему не атакован Пушкин?

Этого я не мог понять. Часто, бродя по московским переулкам, я повторял стихи Пушкина; с нежностью вспоминал я холсты старых итальянских мастеров. Приехав в Москву, я чуть ли не сразу побежал в Кремль. Живопись XV века меня потрясла - я ведь до того не имел представления о русском раннем Возрождении.

Споры о ценностях прошлого вскоре улеглись. Маяковский написал стихи о Пушкине, а материалы о Маяковском теперь выходят в издании Академии «Литературное наследство».

(Я уже упоминал о журнале «Вещь»; среди его сотрудников были многие представители нашего «левого искусства»: Маяковский, Малевич, Мейерхольд, Татлин, Родченко. В статье, посвященной задачам журнала, я писал: «Теперь смешно и наивно «сбрасывать Пушкина с парохода». В течении форм есть связь, и классические образцы не страшны современным мастерам. У Пушкина и Пуссена можно учиться... «Вещь» не отрицает прошлого в прошлом, она зовет делать современное в современном...»)

Маяковского нетрудно понять: его стихи встречались гоготом. Над картинами художников, которые пошли с футуристами (Малевич, Татлин, Родченко, Пуни, Удальцова, Попова, Альтман), в

дореволюционное время издевались. После Октября эпигоны классической поэзии начали укладывать вещи в чемоданы. Бунин и Репин уехали за границу. Остались футуристы, кубисты, супрематисты. Подобно их западным единомышленникам, довоенным завсегдатаям «Ротонды», они ненавидели буржуазное общество и в революции увидели выход.

Футуристы решили, что вкусы людей можно изменить столь же быстро, как экономическую структуру общества. Журнал «Искусство коммуны» писал: «Мы действительно претендуем и, пожалуй, не отказались бы от того, чтобы нам позволили использовать государственную власть для проведения своих художественных идей». Конечно, это было скорее мечтой, чем угрозой. Улицы Москвы расписывались супрематистами и кубистами прежде всего потому, что художники академического толка находились в оппозиции (не художественной, а политической). Все же результаты оказались печальными. Дело не в бабке, принявшей кубистический холст за черта, а в той художественной реакции, которая последовала за кратковременным выходом на улицы «левого искусства».

Открытия в области точных наук доказуемы, и вопрос о том, прав или не прав Эйнштейн, решали математики, а не миллионы людей, помнящих всего-навсего таблицу умножения. Новые формы искусства всегда входили в сознание людей медленно, извилистыми путями; причем сначала их понимали и принимали немногие. Да и вообще предписать, внедрить или навязать вкусы невозможно. Боги древней Эллады потребляли нектар, который поэты называли божественным напитком; но если бы нектар стали вводить через зонд в желудки афинских граждан, то, наверно, дело кончилось бы всеафинской рвотой.

Впрочем, сейчас все это (не только споры о том, кто будет украшать площади Москвы, но и «левое искусство») - древняя история. Еще раз я нарушу правила, которые предписывают мемуаристу придерживаться хронологической последовательности. Мне хочется понять, что приключилось со мной, со многими поэтами и художниками моего поколения. Не знаю, кто перепутал нити - наши художественные противники или мы сами; но я попытаюсь размотать клубок.

Прежде всего скажу о себе. Вскоре я увлекся тем, что тогда называли «конструктивизмом»; признаюсь, однако,- идея растворения искусства в жизни меня и вдохновляла и отталкивала. В 1921 году я написал книгу «А все-таки она вертится», шумливую и наивную, напоминавшую декларации левых (журнал «Леф» отмечал, что «группа И. Эренбурга во многом совпадает в выводах с нами»). Я уверял, будто «новое искусство перестает быть искусством». Одновременно я издевался над своими идеями; в том же 1921 году я написал «Хулио Хуренито»; мой герой доводит до абсурда тезисы книги «А все-таки она вертится». Хуренито говорит: «Искусство - очаг анархии, художники - еретики, сектанты, опасные бунтовщики. Итак, не колеблясь, надо запретить искусство, как запрещены изготовление спиртных напитков или ввоз опиума... Картины кубистов или супрематистов могут быть использованы для различных целей - чертежи киосков на бульварах, орнамент набойки, модели новых ботинок и так далее. Поэзия переходит к языку газет, телеграмм, деловых разговоров...» Я не двурушничал - двурушничество ведь всегда связано с опаской или с расчетом. Просто я не очень-то верил в провозглашаемую многими, в том числе и мною, смерть искусства.

Футуризм родился в начале нашего века в технически отсталой Италии; там на каждом шагу можно было увидеть изумительные памятники прошлого; а в магазинах продавали немецкие ножи, французские кастрюли, английские материи - заводские трубы еще не пытались затесаться в изысканное общество старинных башен. (Теперь Северная Италия может посоперничать с наиболее индустриализованными странами, но теперь в Италии не сыщешь футуриста, требующего сжечь все музеи, а бывшие футуристы Карра или Северини вдохновляются фресками Джотто или равеннской мозаикой.) Увлечение Маяковского, Татлина, других представителей русского «левого искусства» индустриальной эстетикой в первые годы революции вполне понятно: тогда на Сухаревке продавали поштучно не только куски сахара, но даже спички. В «Мистерии-Буфф» Маяковский так мечтал о будущем: «Громоздятся в небо распахнутые машины прозрачных фабрик и квартир. Обвитые радугами, стоят поезда, трамваи и автомобили...» (Когда художник изображает природу или человеческие чувства, его произведения не устаревают.

Никто не скажет, что женщина XX века прекраснее, совершеннее Ники Акрополя, созданной двадцать пять веков назад; терзания Гамлета и Джульетты никому не смешны. Но стоит художнику увлечься техникой, как его утопии оказываются превзойденными или опровергнутыми временем. Уэллс был человеком весьма образованным, ему казалось, что он видит будущее, однако открытия современной физики сделали его утопические романы смешными. Как мог Маяковский предвидеть, что трамвай вскоре разделит судьбу конки, а поезда начнут казаться архаическим способом передвижения?..)

Кубистические полотна Пикассо были рождены не тоской по машинам, а стремлением живописца изобразить человека, природу, мир, освободившись от случайных подробностей. Мало кого теперь интересуют книги Метценже, Глеза и других теоретиков кубизма; а холсты Пикассо, Брака, Леже живы, нас радуют, огорчают, волнуют, Пикассо себя считает наследником Веласкеса, Пуссена, Делакруа, Сезанна, и никогда он не видел в электрическом поезде или в реактивном самолете наследников живописи.

Разумеется, искусство всегда постепенно входило в быт, меняло здания, одежду, словарь, жесты, утварь. Средневековая поэзия с ее культом любимой женщины помогла людям найти формы для выражения своих чувств. Холсты Ватто и Фрагонара перекочевали в быт, изменили планировку парков, костюмы, танцы, повлияли на диваны или на табакерки. Кубизм помог современным урбанистам освободиться от домов, заляпанных ненужными украшениями, он отразился на мебели, даже на коробках сигарет. Утилитарное использование искусства, его декоративное применение не может быть целью художника, оно естественно вытекает из его творческого взлета. Обратный процесс свидетельствует о творческом оскудении. Беспредметный орнамент вполне уместен на ткани или на керамике, когда же он претендует на звание станковой живописи, то это не взлет, а спад.

Недавно я был в Брюсселе на ретроспективной выставке Малевича, Его ранние работы (период «Бубнового валета») очень живописны. В 1913 году он написал черный квадрат на белом фоне. Так родилось абстрактное искусство, которое сорок лет спустя обворожило тысячи западных художников. Оно мне кажется прежде

всего декоративным, Холсты Пикассо - мир, в них столько мыслей и чувств, что они порождают восторг или подлинную ненависть; а холсты абстракционистов остаются элементами ткани или обоев. Женщина может надеть на себя шарф с беспредметным орнаментом, этот шарф может быть красивым или некрасивым, может оказаться к лицу женщине или нет, но он никогда не заставит задуматься о природе, о человеке, о жизни.

Стремительное развитие техники требует от художника еще более углубленного понимания внутреннего мира человека. Это быстро поняли сторонники «левого искусства», защищавшие индустриальную эстетику. Повидав Америку. Маяковский заявил, что необходимо обуздать технику. Конечно, он думал при этом о роли художника, не отрицая необходимости технического процесса (в Москве тогда - это было в 1925 году - техники было чрезвычайно мало); Маяковский понимал, что если не надеть на технику гуманистического намордника, то она искушает, загрызет человека. Мейерхольд, забыв про биомеханику, увлекся «Лесом», «Ревизором», мечтал поставить «Гамлета». Татлин занялся станковой живописью; Альтман писал портреты; Пуни стал мастером маленьких пейзажей. Что касается зонда с нектаром, то он перешел в другие руки, куда более подходящие для подобных операций.

Наши музеи обладают превосходными коллекциями «левого искусства» первых послереволюционных лет. Обидно, что эти коллекции не открыты для посетителей. Из цепи кольца не выкинешь. Я знаю молодых советских художников, которые в 1960 году открывают Америку: делают (вернее, хотят сделать) то, что в свое время делали Малевич, Татлин, Попова, Розанова. Может быть, если бы они могли взглянуть на историю развития названных художников, они пытались бы не вернуться к 1920 году, а найти нечто новое, соответствующее нашему времени? Молодые поэты знают стихи Хлебникова, ценят его мастерство, но не пытаются ему слепо подражать. Почему же Татлин «опаснее» Хлебникова? Может быть потому, что идея монополии одного направления особенно утвердилась в области пластических искусств?..

Конечно, представители нашего «левого искусства» в первые годы революции во многом ошибались. Об ошибках художников, писателей, композиторов говорят часто и охотно; вряд ли это

объясняется тем, что ошибаются только они... Но сейчас, оглядываясь назад, я думаю с признательностью даже о том холсте, который испугал бабушку возле Иверской часовни. Много было сделано; а эссенцию всегда разбавляют. Благотворные следы «левого искусства» можно увидеть в произведениях ряда писателей, художников, режиссеров, кинорежиссеров, композиторов последующих десятилетий.

Я никогда в жизни не был страстным адептом какой-либо художественной школы. Апостола Павла, до того как он обратился в новую веру, звали Савлом. В 1922 году, когда я защищал конструктивизм и издавал журнал «Вещь», В. Б. Шкловский в книге «Цоо» назвал меня Павлом Савловичем - это зло, но справедливо. Через всю мою жизнь я пронес любовь ко многим художественным произведениям прошлого - к романам Стендаля, к рассказам Чехова, к стихам Тютчева, Бодлера, Блока. Это мне не мешало ненавидеть подделку под старое и любить Пикассо или Мейерхольда. В общем, у Павла должно быть отчество, и лучше вылепить новую статую, чем разбить даже с самыми высокими побуждениями статую, некогда созданную. Для скульптора, который высекал изображения индийских богов и богинь в Эллоре, Брахма, Вишну или Шива были богами; для нас это люди, созданные человеческим гением, с близкими нам страстями, с понятной нам гармонией.

Идолы отжили свой век не только в религии, но и в искусстве. Вместе с почитанием икон умерло иконоборчество. Но разве от этого может исчезнуть стремление сказать новое по-новому? Недавно я прочитал в одном журнале слова «скромное новаторство»; они меня сначала рассмешили, потом опечалили. Художник должен быть скромным в своем поведении, но отнюдь не умеренным, тепленьким, ограниченным в творческих дерзаниях. Право же, достойнее писать каракулями свое и по-своему, чем каллиграфически переписывать прописи прошлого. Мне кажется, что колхозники, изображаемые в манере академической (болонской) школы, мало кого могут порадовать и нельзя передать ритм второй половины XX века тем избытком придаточных предложений, которым блистательно пользовался Л. Н. Толстой.

В Пречистенском комиссариате мне пришлось заполнить первую анкету, это было внове, и я задумывался над каждым вопросом. Какая, например, у меня профессия? Журналист? Переводчик? Поэт? Я написал «поэт» - это звучало наиболее благородно - и рассмеялся: менее всего я чувствовал себя профессиональным писателем.

Помимо дурных стихов, я писал очерки в газеты; написал вместе с А. Н. Толстым пьесу для театра «Летучая мышь», называлась она «Рубашка Бланш» и была основана на французском фаблио XIII века, которое я перевел еще в Париже. Я писал стихотворный текст, а Алексей Николаевич старался оживить его забавными репликами.

Внешне я как-то устроился, снял комнату в Левшинском переулке, в профессорской квартире, за сто рублей, иногда обедал в вегетарианской столовой - кажется, она называлась «Примиришь», но примириться ни с чем я не мог.

Иногда я вспоминал «Ротонду», Пикассо, Модильяни, наши споры об искусстве. Бог ты мой, как давно это было!.. Я попробовал написать Шанталь и тотчас порвал письмо: нельзя писать в другой мир. Даже если письмо дойдет, никогда ей не понять, что со мною происходит...

Появилось много новых слов: «мандат», «чека», «рабис», «комфуты», «домком», «уплотнение», «излишки», «пша», «спецы», «пролеткульт», «кубаршины», «ликбез», «рабкрин», «разверстка». Я продолжал приставать ко всем с наивными вопросами; никто мне не отвечал. Неожиданно для себя я очутился и среде писателей, даже стал одним из наиболее типичных ее представителей: у других ведь были семьи, знакомые, налаженный быт, а я попал в революционную Москву с тремя сменами белья, без профессии и потеряв из виду друзей отрочества.

Я упоминал о кафе «Дом» на Тверской, куда часто заглядывали писатели; там мы пили кофе и делились новостями. Были другие кафе, где мы работали,- за тридцать или за пятьдесят рублей читали свои произведения перед шумливыми посетителями, которые слушали плохо, но глядели на нас с любопытством, как посетители зоопарка

глядят на обезьян. Кафе эти были эфемерными - названия то и дело менялись: «Кафе поэтов», «Трилистник», «Музыкальная табакерка», «Домино», «Питторекс», «Десятая муза», «Стойло Пегаса», «Красный петух».

Цветлины нас кормили пышно, как подобало последним представителям чайной династии. Собирались мы часто у Кара-Мурзы; там нас тоже подкармливали, и атмосфера там была куда проще, сердечнее. Иногда мы ходили к Толстому; иногда в Афанасьевском переулке встречались у актрисы Людмилы Джалаловой.

Еще происходили скучноватые собрания «Среды»; там бытовики читали рассказы и литераторы монотонно требовали различных «свобод»; во главе «Сред» стоял брат Бунина, милейший Юлий Алексеевич.

Председателем Всероссийского Союза писателей был Юргис Казимирович Балтрушайтис, человек очень добрый и очень угрюмый. Лицо у него было пустынное, бледные глаза, горестно сжатый рот. Когда Маяковский сокрушал Бальмонта или когда Толстой рассказывал анекдоты, Юргис Казимирович, в черном, наглухо застегнутом сюртуке, непоколебимо молчал. Его комната напоминала его самого - голые стены и распятие. Такими же унылыми, горькими, отвлеченными были и его стихи:

И всех равняет знаком сходства,
Приметой божьего перста.
Одно великое сиротство.
Одна великая тщета!

Помню, как мы ездили в Кимры на литературный вечер. Балтрушайтис читал стихи. Потом Лидии прочитал рассказ о конюшнях и скачках. Зал был шумным; кого-то вывели. На эстраду взобрался паренек и запел:

Дезертиром я родился,
Дезертиром и умру,
Коль хотите, расстреляйте,
В коммунисты не пойду...

Мы пили водку; нас отвели в пустую комнату - поезд отправлялся утром; спали мы на полу. Юргис Казимирович, как всегда, молчал; только когда мы приехали в Москву, он неожиданно сказал: «В общем,

глупо... А все-таки хорошо, что поехали...» Мне кажется, что те годы были для Юргиса Казимировича лучшими в его жизни. (В 1921 году он стал послом Литвы в Москве. Ему хотелось по-прежнему встречаться с писателями, но он числился дипломатом, и его дипломатично избегали. Он продолжал писать угрюмые стихи; писал и на литовском языке. Жизнь его сложилась нелепо, но он не удивлялся - с детства знал, что такое пустыня.)

Помню светящееся окно на Зубовском бульваре - там жил поэт Вячеслав Иванович Иванов. Он казался мне мудрым старцем (ему тогда было пятьдесят два года); ходил он на ибсеновского пастора; одевался по-старомодному; блестела золотая оправка очков. Был он человеком большой культуры; писал сложно и патетически; его называли «Вячеславом Великолепным». Я слушал, как он, волнуясь, будто импровизируя, читал отточенные сонеты, и во мне боролись два чувства: благоговение и жалость; время рванулось вперед, а где-то на Зубовском бульваре остался чужак в сюртуке, с менадами, с Изольдой, с розами Суристана, с акафистами. В домах появились печки, окрещенные «буржуйками», на них варили пшеничную кашу, а Вячеслав Иванович писал:

Охапку дров свалив у камелька,
Вари пшено, - и час тебе довлеет.
Ах, вечности могила глубока!..

Он хорошо говорил о древней Элладе, а когда события заглядывали в его кабинет, терялся. Он писал Г. И. Чулкову:

Да, сей пожар мы поджигали,
И совесть правду говорит.
Хотя предчувствия не лгали,
Что сердце наше в нем сгорит.

Мне кажется, сердце Вячеслава Иванова в те годы не горело, а замерзло... (Несколько лет спустя он уехал в Италию, преподавал славистику в католическом университете, писал, как прежде, сонеты и умер в глубокой старости.)

Как-то я возвращался после литературного вечера с М. О. Гершензоном, который жил в одном из переулков Арбата. Я знал его книги о декабристах, о Чаадаеве и думал, что для Михаила Осиповича самое важное - сохранить те духовные ценности, о которых говорил Вячеслав Иванов. Но Гершензон неожиданно рассмеялся и,

остановившись возле сугроба, который был выше его, стал меня наставлять: важнее всего внутренняя свобода, нечего плакать об истлевших ризах. Он смеялся, а глаза у него были ласковые и печальные: «Почему вы огорчаетесь? Вы ведь молоды... Разве не счастье почувствовать себя свободным от всего, что представлялось нам вечным, неизблемым? Я вот радуюсь...» Михаилу Осиповичу не было и пятидесяти, но мне он, конечно, казался стариком. Я тогда не понял, чему он радуется, а теперь с восхищением думаю о его словах; если он страдал дефектом зрения, то в отличие от многих писателей, в том числе молодых, был не близоруким, а дальноруким. Его заслуги перед нашей литературой велики, и только болезнью века - амнезией можно объяснить то, что о нем быстро забыли: ведь он был не эфемерным автором парадоксов, а серьезным и глубоким историком русской интеллигенции XIX века. Его книги об Огареве, о Чаадаеве, о декабристе Кривцове, о грибоедовской Москве написаны с точностью летописца и с вдохновением поэта. Он умер в 1925 году.

Позднее я расскажу об Андрее Белом - я часто с ним встречался в Германии в 1922 году. В годы, о которых я говорю, он казался мне призраком. Он не сидел на стуле, как все, а приподымался; казалось, еще минута - и он превратится в облако; говорил он не с собеседником, а с воображаемым обитателем воображаемой планеты. Слово «эфир» давно стало техническим термином работников радиовещания, они говорят «выпускаем в эфир», даже когда идет речь о беседе, как предохранить себя от желудочных заболеваний, А тогда слово «эфир» еще звучало таинственно: «Тебя я, вольный сын эфира, возьму в надзвездные края...» Так вот, мне казалось, что Андрей Белый говорит исключительно в лермонтовский эфир: Россия - мессия, разрушение - созидание, бездна - взлет... Он восхищал меня, но я думал: тебе хорошо, ты и не сидишь на стуле, ты взлетаешь, а я не умею ни развоплощаться, ни испаряться, ни вещать...

Все выводило из себя Бальмонта. Однажды мы должны были проехать от Покровских ворот к Арбату. Войти в трамвай было нелегко; я, вскочив на подножку, пытался пробиться, а Константин Дмитриевич начал вопить: «Хамы, расступитесь! Идет сын солнца...» Это не произвело никакого впечатления, и Бальмонт объявил, что, поскольку ни у него, ни у меня нет денег на извозчика, мы пойдем

пешком: «Я не могу касаться моим телом этих бесчувственных амфибий».

И. А. Бунин уверял, что во всем повинны «декаденты» - и в том, что разорили его усадьбу, и в том, что исчез сахар. Однажды у Толстого я прочел свои стихи о казни Пугачева, написанные еще в Париже в 1915 году; там были строки:

И останется от русского царства икра рачья

Да на высоком колу голова Пугачья... Бунин встал, сказал Наталье Васильевне: «Простите, подобного я слушать не могу» - и ушел. Кто-то сочинил тогда стихи, которые оказались в моей записной книжке:

Вы дружбой связаны со мною,
Бандит и черт, парижский сноб
В огромной шляпе, вышиною
Напоминающей сугроб,
Вы, что стихами без нагана
Спугнули Бунина Ивана.
Желаю вам от сей поры
Отборных раков без икры.

У Толстых, несмотря на душевное беспокойство, овладевшее Алексеем Николаевичем, было уютно: Толстой умел не только вкусно радоваться, но и вкусно огорчаться. Неизменно он рассказывал забавные истории, причем сам смеялся первый. Как-то, вернувшись с репетиции своей пьесы, он рассказал, будто в первые дни революции солдаты нашли в Малом театре голову Иоканаана, которой в пьесе Уайльда тешится Саломея; голова им понравилась, и они начали ею играть в футбол. В другой раз Толстой рассказывал, как во время выборов в Учредительное собрание в подмосковной деревне одна бабка взяла со стола не тот бюллетень, что хотела. Агитатор сказал ей: «Да это не твой номер», а она ему ответила: «Наследить боюсь... Если бог поможет, мы и с этим управимся...» «Ха-ха-ха!» - грохотал Алексей Николаевич, а было ему, как я говорил, совсем не весело.

Из писателей старшего поколения я встречал Б. К. Зайцева, больного, недоумевающего; он охотно вспоминал Италию, а про то, что делается вокруг, говорил откровенно: «Не понимаю...» Ходили мы иногда к поэту Г. И. Чулкову, который жил на Смоленском бульваре. В молодости Георгий Иванович принимал участие в революционном

движении, побывал в тюрьмах, в ссылке. Около 1907-1908 годов он оказался в центре литературной жизни, о нем Блок спорил с Андреем Белым. Я его узнал постаревшим и печальным; он походил на большую больную птицу, больше не проповедовал ни «соборности», ни «мистического анархизма», иногда, помолчав, повторял строки Тютчева. Иван Алексеевич Новиков предпочитал цитировать Пушкина; он был радушным хозяином, никого не обижал; глаза у него были ласковые, спокойные, и дома держался старый быт - на пасху пекли куличи, красили яйца.

У Кара-Мурзы собирались главным образом молодые - там Алексей Николаевич был классиком. Поэт Липскеров нараспев читал стихи о красотах Востока. Приходила В. М. Инбер. (С нею я познакомился еще в Париже; она должна была уехать в горный санаторий в Швейцарии и попросила меня присмотреть за изданием ее первой книги «Печальное вино». Иллюстрации к книге сделал мой приятель, скульптор Цадкин.) Вера Михайловна читала шуточные стихи:

Вилли, милый Вилли,
Отвечайте мне без долгих дум.
Вы когда-нибудь кого-нибудь любили,
Вилли-грум?

В то время я подружился с В. Г. Лидиным. В молодости он был наивным и жаждал романтики. Людмила Джалалова его называла «розовым Марабу», эта кличка прижилась.

В одном из писем Маяковского к Л. Ю. Брик я нашел такие строки: «Кафе омерзело мне. Мелкий клоповничек. Эренбург и Вера Инбер слегка еще походят на поэтов, но и об их деятельности правильно заметил Кайранский:

Дико воеет Эренбург,
Одобряет Инбер дичь его...»

В «Литературном наследстве» не приведен конец эпиграммы:

Ни Москва, ни Петербург
Не заменят им Бердичева.

Сочинил эти стишки критик А. А. Кайранский на вечере у Кара-Мурзы. Я тогда еще многого не предвидел и не рассердился.

Мы развлекались, как умели. Сфинкс ставил людям загадки, они их не могли решить, и Сфинкс их пожирал. Эдип знал, что если он не

разгадает головоломки, то его ждет гибель; все же я думаю, что, когда Сфинкс на минуту оставлял Эдипа в покое, Эдип развлекался...

Вот только Андрей Михайлович Соболев редко смеялся, и улыбка у него была печальная. В ранней молодости он был связан с эсеровским подпольем, восемнадцатилетним юношей был приговорен к каторжным работам, сослан в свирепый Зерентуй, с поселянами бежал за границу. Я с ним познакомился в итальянской деревушке Кави ди Лаванья, где почему-то обосновались, вернее, бедствовали, русские эмигранты. Во время войны Соболев с чужим паспортом вернулся в Россию. Не знаю, почему он был так печален, может быть потому, что хлебнул в жизни горя, может быть потому, что действительность не походила на мечты подростка: крестьяне жгли в усадьбах библиотеки, матросы увлекались самосудами, а по Мясницкой вместо героев Степняка-Кравчинского деловито шагали мешочники. В 1923 году в «Правде» было напечатано «Открытое письмо» Андрея Соболева... «В бурные, грозные годы, прошедшие перед нами, над нами и сквозь нас, ошибалась, спотыкалась и падала вся Россия. Да, я ошибался, я знаю, где, когда и в чем были мои ошибки, но они являлись органическим порождением огромной сложности жизни. Безукоризненными могли себя считать или безнадежные глупцы, или беспардонные подлецы. В отсутствии глупости и подлости в себе я не нахожу повода для раскаяния. Одни сознают свои ошибки раньше, другие - позднее. Я позднее многих сознал, быть может, потому, что всегда был и оставался социалистом и всегда верил в тот час, когда рикша из Калькутты протянет, аннулируя моря и океаны не только воды, но и слез и крови, руку Федьке Беспятому из Недоеловки...» Андрей Михайлович был человеком болезненным, с обостренно чувствительной совестью, добрым, мягким. В 1926 году он покончил с собой на скамейке Тверского бульвара.

Газеты сообщали об огромных событиях: наступление немцев. Брестский мир, переезд правительства в Москву, мятеж левых эсеров, начало гражданской войны на Дону. В Москве то и дело постреливали. На Поварской чуть ли не в каждом особняке был штаб анархистов. В кафе поэтов я часто видел на столике рядом с пирожными маузер. Ночью на прохожих нападали бандиты. На собраниях повторяли: «Социалистическое отечество в опасности!» Появилось сообщение о

том, что организована «Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем».

А жизнь продолжалась... Я встретил поэта Михаила Герасимова; он повел меня на собрание пролеткультовцев; там издевались над футуристами. Маяковский называл стихи пролеткультовцев «протухшим товаром». Толстой говорил, что нужно уехать в Париж. Бунин называл Толстого «полубольшевиком».

Сфинкс требовал ответа. А мы все-таки холили к Кара-Мурзе, дурачились, сочиняли пародии, покупали на Сухаревке табак, ссорились друг с другом, влюблялись...

Пошел я на выставку «Бубновый валет»; там были холсты и некоторых бубнововалетцев, и супрематистов, и салонных стилизаторов - вывеска обманывала. А живопись тех художников, которые действительно были в прошлом организаторами группы «Бубновый валет», мне понравилась. Я почему-то считал (да так думают многие и поныне), что бубнововалетцы слепо подражали французам. Конечно, они любили Сезанна, знали Матисса, но к опыту французских мастеров они добавили нечто свое, национальное. В ранних холстах Лентулова, Машкова, Кончаловского, Ларионова, Шагала, да и Малевича (до супрематизма) есть нечто от вывесок парикмахерских, фруктовых или табачных лавок, которые в дореволюционное время в провинциальных городах являлись подлинно народным творчеством.

Увлекали меня и театры; судя по записной книжке, я за один месяц побывал в Художественном на «Трех сестрах» и на «Селе Степанчикове», увидел в Камерном «Фамиру Кифаред» Иннокентия Анненского, был в Драматическом театре на «Павле» Мережковского. Глядел я в филиале Художественного театра пьесу «Потоп». На сцене было кафе, люди заказывали коньяк, подзывали официанта. Рядом со мной сидел художественный критик Я. А. Тугендхольд, незадолго до того вернувшийся из Парижа. Когда опустился занавес, Яков Александрович полез в карман за деньгами: ему показалось, что он в кафе и должен расплатиться с официантом. А я посмеивался, хотя пьеса была скорее мрачная: смешил меня натурализм театра - актеры действительно пили что-то, все было как «на самом деле». В 1909 году в Париже мне показался неправдоподобным трагический актер Муне-

Сюлли в роли царя Эдипа, а вот теперь меня смешила неправдоподобность чересчур правдоподобного...

Искусство искушало, но я продолжал думать о вопросах Сфинкса. Жизнь становилась внешне все труднее и труднее: все жили впроголодь. Говорили о перестрелках, о пайках, о сыпняке. Я переносил лишения легче, чем многие из моих новых друзей: в Париже прошел школу голода.

Как-то с оказией пришло письмо от Шанталь, она писала, что ждет меня. На минуту передо мной встал Париж - Сена, каштаны, друзья и маленькая улочка Кур де Роан, где жила Шанталь. Ответ я писал долго - хотел объяснить, что война продолжается, что у меня нет денег, а главное, я не могу уехать из России, не поняв, что здесь происходит... Письмо получилось глупое, и я его порвал.

Моя мать умерла в Полтаве осенью 1918 года. Я знал, что она тяжело больна, торопился. Когда я добрался до дома моего дядюшки, отец, сгорбившись, сидел в передней: он только что вернулся с кладбища. Я опоздал на два дня и не простился с матерью. В жизни почти каждого человека смерть матери многое внутренне меняет. Я с семнадцати лет жил далеко от родителей, и все же почувствовал себя сиротой. Шел холодный дождь, цветы на могиле быстро почернели от ранних заморозков. Я не знал, что сказать отцу; мы оба молчали. Я пробыл с ним две или три недели; об этом можно было бы многое рассказать, можно и промолчать.

Однажды на улице я увидел В. Г. Короленко. Он шел сутулясь; лицо его поражало добротой и печалью. Казалось, это идет последний представитель интеллигенции прошлого века. (Словарь Ушакова дает и такое толкование «интеллигента»: «Человек, социальное поведение которого характеризуется безволием, колебаниями, сомнениями». А русская интеллигенция XIX века не была безвольной; она умела расплачиваться за свои идеи и житейскими невзгодами, и тюрьмой, и каторгой. Сомнения ее часто объяснялись не боязливостью, а совестью. Именно совестью был и Короленко.) Я вспомнил, как он пригласил начинающего поэта на чужбине. Студент, который бывал у него, сказал: «Хотите, я вас представлю...» Я знал, что Владимир Галактионович плохо себя чувствовал, подавлен событиями, тревожится за своего зятя, которого арестовали немцы. Я не решусь ни о чем его спросить... А просто подойти, поблагодарить за то, что он живет на свете, я постеснялся; так и не подошел к нему...

В Киеве я оказался в скверное время. Я расскажу о том, как я там жил и что увидел; но прежде всего мне хочется сказать о самом Киеве. Мальчишкой я часто бывал в этом городе - гостил у деда; побывал в Киеве и после тюрьмы, без прописки, без крова. Моя жизнь протекала в двух городах - в Москве и в Париже. Но я никогда не мог забыть, что Киев - моя родина. Очевидно, такова власть слова, сила воображения. Не знаю, когда мои предки оказались на Украине и откуда их пригнали ветры истории; может быть, из Кордовы или Гренады. В

Киев мой дед (по материнской линии) приехал из Новгород-Северска, древнего уездного городка Черниговской губернии, и было это, разумеется, не во времена князя Игоря, а относительно недавно - в начале царствования Александра Второго. Где пан таскал его за пейсы - в Новгород-Северске, в Киеве или, может быть, в том самом Бердичеве, о котором рассказывали сотни анекдотов и который помог Кайра некому сочинить едкий стишок? Не знаю. Не берусь доказать, что я добротный, потомственный киевлянин. Но у сердца свои законы, и о Киеве я неизменно думаю как о моей родине. Осенью 1941 года мы теряли город за городом, но я не забуду день 20 сентября - тогда мне сказали в «Красной звезде», что по Крещатику идут немецкие дивизии.

«Киев, Киев! - повторяли провода.-

Вызывает горе. Говорит беда».

«Киев. Киев!» - надрывались журавли..

Помню, как мальчишкой я подъезжал к Киеву. Поезд останавливался на каждой станции, не торопился (торопился я), и названия станций были странные - Бобрик, Бобровица, Бровары. Потом начинались пески; мне они казались Сахарой. Я высовывался из оконца. Киев показывался внезапно - купола Лавры, сады, широчайший Днепр с островками, на которых зеленели деревья. Поезд долго грохотал на мосту...

В Киеве были огромные сады, и там росли каштаны; для московского мальчика они были экзотическими, как пальмы. Весной деревья сверкали канделябрами свечей, а осенью я собирал блестящие, будто отполированные каштаны. Повсюду были сады - и на Институтской, и на Мариинско-Благовещенской, и на Житомирской, и на Александровской; а Лукьяновка, где жила тетя Маша с грушами и с курами, мне казалась земным раем. На Крещатике был писчебумажный магазин Чернухи, там продавали школьные тетради в блестящих цветных обложках; в такой тетради даже задача на проценты выглядела веселее. Был магазин кондитерских изделий Балабухи, в нем продавали сухое варенье (его называли «балабухой»); в коробке лежала конфета, похожая на розу, она пахла духами. В Киеве я ел вареники с вишнями, пампушки с чесноком. Прохожие на улице улыбались. Летом на Крещатике в кафе сидели люди - прямо на

улице, пили кофе или ели мороженое. Я глядел на них с завистью и с восхищением.

Потом всякий раз, приезжая в Киев, я поражался легкости, приветливости, живости людей. Видимо, в каждой стране есть свой юг и свой север. Итальянцы считают жителей Турина северянами - они суховаты, сдержанны, деловиты. Гасконцы живут на той же географической широте, что туринцы, но Гасконь - юг Франции, и по-французски «гасконец» означает фантазер, насмешник, балагур. Для испанца барселонцы - северяне, а если отправиться из Барселоны на север и пересечь границу, то можно доехать до Тарас кона, где жил Тартарен...

На севере человек иногда улыбается: он вспомнил что-то приятное. А почему улыбается южанин? Вероятно, потому, что ему нравится улыбаться. Украинская фантазия, украинский юмор красили суровый облик старой России. Гоголь был болезненным человеком с очень тяжелым характером, но скольких он лечил своими книгами! Я знаю, что Гоголь - «великий реалист», это стоит в любом учебнике, и я в гимназии учил наизусть «Чуден Днепр при тихой погоде». Там сказано: «Редкая птица долетит до середины Днепра». Птицы перелетают через моря, но Гоголь прав: и Днепр широк, и широко искусство.

После революции в русскую литературу вошли яркие, несдержанные, насмешливые и романтические южане; они нас слепили, смешили, вдохновляли - Бабель, Багрицкий, Паустовский, Катаев, Светлов, Зоценко, Ильф, Петров, Олеша...

Мальчиком я гостил у тети Маши; она арендовала хутор возле Борисполя; там на ярмарке я слышал, как слепцы пели старые песни. Много лет спустя я услышал, как М. Ф. Рыльский читал свои стихи, и было в этом нечто мне знакомое - лукавая и нежная музыка украинской речи.

В киевской Софии я провел немало часов. Часто противопоставляют византийское искусство древнегреческому; разумеется, Христос-Пантократор, требовательный и суровый, связанный не только с синим небом Греции, но и с фанатично-полицейским строем великой империи, не входит в мир кентавров и нимф. И все же Византия сохраняла гармонию Эллады; ее отсвет

дошел до древнего Киева. В Софии я чувствовал не только груз веков, но и легкость, крылья искусства.

Я люблю барокко Киева; его вычурность смягчена каким-то естественным добродушием; это не гримаса, а улыбка. Мне жаль Михайловского монастыря, он хорошо стоял, был милый дворик. Конечно, Андреевская церковь лучше, но зря его снесли... (Футуристов обвиняли в неуважении к искусству прошлого; но у футуристов были перья, а не ломы. В тридцатые годы порой так рубили лес, что летели не щепки - вековые камни. В 1934 году я видел, как в Архангельске взрывали здание таможни петровского времени, я спрашивал - почему, мне отвечали: «Мешает уличному движению», а в Архангельске автомобили были наперечет.)

Война нанесла Киеву много ран. Немцы взорвали собор Лавры. Крещатика не стало. Потом сделали тротуары, поставили вазы с цветами, милиционеров. А потом улицу отстроили. На старом Крещатике не было памятников старины, и он мне мил только воспоминаниями. А в Москве я живу на улице Горького и пригляделся к той архитектуре, которую теперь называют «украшательской», хотя ничего она украсить не способна. Зато я восхитился, увидев новый проспект над Днепром: Киев теперь может присесть на скамеечку (разумеется, в тихую погоду) и проверить, до чего чуден Днепр... Похорошели зеленые Липки. С Подола сияли клеймо отверженности.

Нет, Киев мне не чужой! Первые мои воспоминания - это большой двор, куры, бело-рыжая кошка, а напротив дома (на Александровской) красивые фонарики - там помещалось летнее увеселительное заведение «Шато де флер».

С Киевом связано немало событий в моей жизни. В 1918-1919 годах там существовала художественная школа Александры Александровны Экстер, «левой» художницы, которая выставлялась в Москве вместе с бубнововалетцами и делала постановки в Камерном театре. В школе учились дюжина молоденьких девушек и несколько юношей. Среди учениц А. А. Экстер была восемнадцатилетняя девушка Люба Козинцева. Она заинтересовалась мною, узнав, что я знаком с Пикассо. Что касается меня, то я заинтересовался ею, хотя она была знакома только с Александрой Александровной. Я начал ходить на Мариинско-Благовещенскую, где жил доктор Козинцев. Конечно, репутация у меня была шаткая; но шатким тогда было все.

Гетмана сменил Петлюра, Петлюру прогнала Красная Армия. Люба с товарищами расписывала агитпароход. Швейцар «Литературно-артистического клуба» философствовал: «Сегодня навыворот, а завтра за шиворот». Я продолжал писать стихи, но в многочисленных анкетах на вопрос о роде занятий отвечал уже не «поэт», а «служащий» - я работал в нескольких советских учреждениях. Впрочем, все это к делу не относится. Люба украдкой приходила ко мне - я снимал тогда комнату на Рейторской. Несколько месяцев спустя мы, никого об этом не предупредив, направились в загс, пробираясь через спящих красноармейцев и тюки, отобранные продкомом.

В октябре 1943 года вместе с другими корреспондентами «Красной звезды» я жил в сожженном селе Летки на Десне. Мы ждали, когда освободят Киев. Вокруг шумел высокий камыш. Иногда мы ездили в Дарницю, оттуда можно было рассмотреть город. Иногда переправлялись на правый берег Днепра. Ждать было трудно. Поэт Семен Гудзенко потом написал:

Но и в сугробах Подмосковья, и в топях белорусских рек был Киев первою любовью, незабываемой вовек.

Я увидел пески Бабьего Яра; там гитлеровцы убили семьдесят тысяч евреев. Мне показали объявление: «Жида г. Киева и окрестностей. В понедельник 29 сентября к семи часам утра вам надлежит явиться с вещами, документами и теплой одеждой на Дорогожицкую улицу, возле Еврейского кладбища. За неявку - смертная казнь». По длинной Львовской шло шествие обреченных; матери несли грудных детей; парализованных везли в тележках. Потом людей раздевали и убивали. Среди погибших не было моих близких, но, кажется, нигде я не пережил такой тоски, такого сиротства, как на песках Бабьего Яра. Иногда чернела зола, обугленные кости (немцы незадолго до эвакуации приказали военнопленным выкопать тела жертв и сжечь их). Почему-то мне казалось, что здесь погибли мои родные, друзья, сверстники, что сорок лет назад я видел их - они играли в детские игры на смутных улицах Подола или Демиевки.

В Киеве жило много евреев. Когда я еще был мальчишкой, мой двоюродный брат, студент, показал мне на Крещатике человека в очках, с длинными волосами и почтительно пояснил: «Это - Шолом-

Алейхем». Я тогда не знал о таком писателе, и мне он показался одним из ученых чудаков, которые сидят над книгой и выразительно вздыхают. Много позднее я прочитал книги Шолом-Алейхема, я и вздыхал и смеялся, мне хотелось вспомнить лицо ученого чудака, мелькнувшее на Крещатике. Шолом-Алейхем называл Киев «Егупцем», и люди этого города заполняют его книги. Их дети и внуки простились с Егупцем в Бабьем Яру...

В Киеве я пережил еврейский погром. Для меня рассказ украинского писателя Коцюбинского вдвойне дорог - и потому, что я понимаю муку Эстерки, и потому, что автор рассказа не резник Абрум, а Михаил Михайлович, сын Михаила Матвеевича и Гликерии Максимовны.

Я много пережил в Киеве, но дело не в этом. Говорят, что можно родиться в случайном месте - на узловой станции или в далекой стране, куда судьба на месяц или на год закинула родителей. Что же, в таком случае узловая станция перестает быть одним из кружков на карте, далекая страна становится близкой.

Киев. Киев, родина моя...

Всякий раз, когда я попадаю в Киев, я обязательно поднимаюсь один по какой-нибудь крутой улице; мальчишкой быстро взбегал, а постарел - и задыхаюсь; поднимаюсь, и кажется мне, что только с Липок или с Печерска я могу взглянуть на годы, на десятилетия, на прожитый век. Все это, если угодно, присказка. Я прожил в Киеве с осени 1918 года по ноябрь 1919-го - один год. Менялись правительства, порядки, флаги, даже вывески. Город был полем гражданской войны: громили, убивали, расстреливали. Вот об этой недоброй сказке мне предстоит рассказать. Если я начал с лирического отступления, то потому, что почти все пословицы лгут (точнее, излагают истины наоборот), в том числе и классические пословицы классических римлян, которые говорили: «*Uni bene, ibi patria*» - где хорошо, там и родина. На самом деле родина и там, где бывает очень плохо...

В Париже мы в тоске повторяли: «Немцы в Нуайоне». И вот я увидел немцев на Крешатике. Навстречу мне шел высокий офицер с вильгельмовскими усами. Возле Думы стояли немецкие часовые в высоких сапогах, они выстукивали чечетку деревянными подошвами. На одной из станций по пути в Киев я заметил в ресторане чистую половину с надписью: «Только для господ немецких офицеров».

Газеты заверяли, что правит Украиной гетман Скоропадский. Фамилия его звучала плохо - правительства тогда слишком часто падали. Я его никогда не видел, может быть, внешность у него была подходящая. Когда петлюровцы подошли к городу, гетман уехал в Германию; однако возле дома, где он жил, по-прежнему стояли молоденькие добровольцы, уверенные в том, что защищают главу государства. Киевляне, смеясь, говорили, что гетман поторопился. Что же, он не торопился умереть. Он прожил в эмиграции почти тридцать лет, восхищался Гитлером и увидел вторично разгром Германии. Один немец мне рассказал, что Скоропадского до самой смерти величали «господином гетманом»; наверно, с годами он привык к этой кличке, но в 1918 году он играл плохо, как дебютант. Ему полагалось защищать независимость Украины, но, будучи офицером царской армии, он явно предпочитал петербургских гвардейцев киевским гайдамакам. Гетманом его сделали немцы - естественно, что он им объяснился в любви, но во Франции союзники начали большое контрнаступление, и Скоропадский послал своего человека в Одессу, где сидел представитель союзников, французский консул мосье Энно.

На толкучке демобилизованные в ободранных шинелях продавали хрустальные люстры и винтовки. На толкучке пели:

Украина моя хлебородная,
Немцу хлеб отдала,
А сама голодная.

Немцы не могли пожаловаться на отсутствие аппетита; ели они повсюду - в ресторанах, в кафе, на рынках; ели венские шницели и жирные пончики, шашлыки и сметану.

Немцы были веселы и довольны жизнью; в киевских паштетных было куда уютнее, чем на Шмен-де-дам или у Вердена. Они казались фигурами с одного из тех памятников, которые в Германии ставились в честь военных побед. Они верили, что подчинят себе мир. (Двадцать два года спустя я увидел сыновей тех немцев, что некогда прогуливались по Крещататику, они шли по парижским бульварам; дети походили на отцов: много ели и свято верили в свое превосходство.)

Киев напоминал обшарпанный курорт, переполненный до отказа. Киевляне терялись среди беженцев с севера. Крещатик был первым этапом русской эмиграции - до одесской набережной, до турецких островов, до берлинских пансионатов и парижских мансард. Сколько будущих шоферов такси в Париже прогуливалось тогда по Крещатику! Были здесь и сиятельные петербургские сановники, и пронырливые журналисты, и актрисы кафешантанов, и владельцы доходных домов, и заурядные обыватели - северный ветер гнал их, как листья осенью. Каждый день открывались новые рестораны, паштетные, шашлычные; северяне после жизни «в сушь и впроголодь» тучнели на глазах. Открывались также казино с азартными играми, театры миниатюр, кабаре. В маленьком театре, известном петербуржцам, актеры подпрыгивали, пели куплеты, написанные Агнивцевым:

И было всех правительств десять,

Но не успели нас повесить...

Пооткрывалось множество комиссионных магазинов; это было внове и удивляло; продавали меха, нательные кресты, иконы с ризами, столовое серебро, серьги, шотландские пледы, кружева - словом, все, что удалось вывезти из Москвы и Петрограда. Деньги ходили разные - царские, керенки, украинки; никто не знал, какие из них хуже. Возле Думы спекулянты предлагали желающим германские марки, австрийские кроны, фунты, доллары. Когда приходили известия о неудачах немцев во Франции, марки падали, а фунты подымались. Особенно привлекательными казались покупателям доллары; причем спекулянты, то ли чтобы проявить некоторую фантазию, то ли чтобы побольше заработать, делили доллары на различные категории, дороже всех расценивались те, что «с быками».

Офицеры тоже делились на категории: были сторонники Деникина, Красновцы, кубанцы и даже представители «астраханского

войска». Все они, кажется, входили в «особый русский корпус», но между собой ссорились. Все, однако, ругали большевиков, самостийников и евреев. На Крещатике я впервые услышал боевой клич: «Бей жидов, спасай Россию!» Евреев они убили немало, но своей, старой России этим не спасли.

Поползли слухи: союзники разбили немцев; в Германии неспокойно: во главе нового правительства стоит какой-то немецкий Керенский, его зовут «Макс Баденский». Белые офицеры не знали - радоваться им или огорчаться; с одной стороны, они клялись в верности союзникам и клеймили Брестский мир, с другой - хорошо понимали, что если немцы уйдут, то город захватят, как они говорили, «бандиты», то есть петлюровцы.

Немцы упаковывали чемоданы деловито, не торопясь. Кайзер из Берлина уехал в Голландию. Военные действия на Западе кончились. Газеты сообщили, что в Киеве образовался немецкий «Совет солдатских депутатов». Не знаю, чем он занимался. Что касается немецких офицеров и солдат, то они старались вывезти на родину побольше трофеев: сало, масло, сахар.

Эсеры и кадеты, заседавшие в городской думе, хотели было объявить, что берут в свои руки власть как демократические избранники населения; но из Одессы приехал эмиссар от мосье Энно и объявил, что союзники приказывают «демократическим силам Киева» поддерживать гетмана Скоропадского.

Петр Нильский, который в дореволюционные годы был известен тем, что высмеивал поэтов-символистов, издавал в Киеве юмористический журнал «Чертова перечница». Посмеяться было над чем: гетман, поставленный немцами, спешно разучивал «Марсельезу»; мосье Энно говорил, что он за гетмана, и предлагал Директории снабдить ее оружием; правительство новой Германской республики называло себя социалистическим и договаривалось с французскими генералами о военном походе на Советскую Россию. Об этом в «Чертовой перечнице» не было ни слова: перец молол не черт, а петербургский литератор, который знал, что вскоре ему придется просить визу - французскую или немецкую.

Поезда в Одессу штурмовали; все говорили, что там высадутся войска союзников; высадутся они слишком поздно, чтобы оградить Киев от петлюровцев или от большевиков, а вот Одесса - это рай,

крепость, спокойная жизнь. Скептики добавляли, что если даже из Марсея не приедут французские «пуалю», то беженцы смогут из Одессы уехать в Марсель: море есть море.

Я говорил, что никогда не рождается столько басен, как в начале войны. Гражданская война длилась долго, но противники Советской власти то и дело менялись, и все они фантазировали, как это делают люди в самом начале войны. Различные «осведомленные» беженцы клялись, что у союзников имеются ультрафиолетовые лучи, которыми они могут в течение нескольких часов уничтожить и «красных» и «самостийников».

Шли разговоры о «бандах». Повстанческих отрядов было много; внешне они походили друг на друга, но среди повстанцев были люди, думавшие по-разному: одни верили в Директорию, другие считали, что нужно покончить с буржуями, а пока что раздевали крестьян; были и любители пограбить, непокаявшиеся Опанасы, которые набили себе руку на еврейских погромах. Не помню, когда на сцену появился тот или иной «батька» - в 1918 году или в 1919-м, но за год я наслушался историй о Струке, Тютюннике, Ангеле, Зеленом. Заболотном и, разумеется, о самом знаменитом из всех - Махно.

Войска Директории подошли к городу. Напоследок белые офицеры опорожнили винные погреба, пили, пели, ругались, плакали и расстреливали «подозрительных».

Когда солдаты занимают город, настроение у них хорошее; когда им приходится оставлять город, они полны злобы, лучше им не попадаться на глаза. В тот год мне приходилось очень часто слышать три определения: «в штаб Духонина», «эксцессы» и «хлопнуть дверью».

Петлюровцы шли по Крешатику веселые, никого не трогали. Московские дамы, не успевшие выбраться в Одессу, восхищались: «Какие они милые!» Белых офицеров собрали и заперли в Педагогическом музее (очевидно, дело было в размерах помещения, а не в педагогике). Помню, как все перепугались: вдруг раздался грохот, во многих домах повылетали стекла. Обыватели поспешно стали набирать волю в ванны - может, не будет воды - и жечь петлюровские газеты. Оказалось, что кто-то бросил бомбу в Педагогический музей.

Названия газет изменились. Вывесили желто-голубые флаги. На ассигнациях был трезубец. Приказали переделать вывески магазинов,

и повсюду можно было увидеть лесенки, на них стояли маляры с кистями - вместо «и» ставили «і».

На двух домах в Липках появились гербы - английский и французский. Газеты сообщали, что мосье Энно обещал защитить независимость Украины и от «красных» и от «белых».

Иногда мне казалось, что я смотрю фильм и не понимаю, кто за кем гонится; кадры мелькали так быстро, что нельзя было не только задуматься, но рассмотреть. Петлюровцы вели переговоры с большевиками и с деникинцами, с немцами и с мосье Энно. В Киев войска Директории вошли в декабре и пробыли недолго - шесть недель.

Никто не знал, кто кого завтра будет арестовывать, чьи портреты вывешивать, а чьи прятать, какие деньги брать и какие постараться всучить простофиле. Жизнь, однако, продолжалась. У меня долго не было комнаты, и я спал на диване в квартире моего двоюродного брата, профессора-венеролога А. Г. Лурье. Порой утром на улицах стреляли, а в приемной уже сидели мрачные пациенты; они неизменно отворачивались друг от друга, некоторые пытались закрыть лицо газетой. Названия газет менялись, и писали там совсем другое, чем вчера, но это не смущало пациентов.

Был дом на Липках, где обычно допрашивали арестованных; уходя, жгли бумаги, выбивали стекла. Приходили новые власти, стекла вставляли, приводили кипы бумаги и начинали допрашивать арестованных.

Я упомянул о «Литературно-художественном клубе»; помещался он на Николаевской и назывался весьма неблагозвучно «Клак» («Киевский литературно-художественный клуб»). В месяцы Советской власти его переименовали в «Хлам» - не из презрения к искусству, а потому, что все и всё переименовывали; «Хлам» означал: «Художники, литераторы, актеры, музыканты». Я туда частенько приходил. После очередного переворота некоторые навсегда исчезали: уходили с армией или, как говорил философический швейцар, их «хватили за шиворот». Оставшиеся пели или слушали пение, читали стихи, ели биточки.

Когда в феврале пришли с левого берега красноармейцы, почти все им обрадовались. Помню одного из посетителей «клуба», лысого

московского адвоката; возбужденный, он кричал: «Я против их идей, но все-таки у них есть идеи, а мы здесь жили черт знает как!..»

Были, разумеется, непримиримые; они считали, что через месяц Городской сад снова станет Купеческим и начнет выходить в свет дорогой им «Киевлянин». Ведь мосье Энно обещал, что союзники выселятся в Одессе, в Севастополе, в Новороссийске и первым делом освободят от большевиков «мать городов русских»...

С кем только не договаривался общительный мосье Энно! Вокруг Киева рыскали «курени смерти» и отряды различных атаманов. Горели дома; летел пух из перин. Каждый день рассказывали о новом погроме, об изнасилованных девочках, о стариках с распоротыми животами. Союзники заседали в Париже; вдохновленные романтикой Венеции дождей, они организовали «совет десяти»; этот «совет» договаривался с Деникиным. Мосье Энно обещал винтовки батьке Зеленому. Люди умирали от голода, от шальной пули, от погромов, от тифозных вшей.

При петлюровцах кто-то принес в «Клак» французскую газету «Матэн». Я узнал, что в Париже появилась новая мода - мужчины носят пиджаки, чрезвычайно узкие в талии, победители кайзера напоминают элегантных дам. Вслед за модами была напечатана статья, объяснявшая, что союзники в России защищают свободу, гражданские права и высокие человеческие ценности.

Я говорил, что Скоропадский дожил на немецких хлебах до глубокой старости. Петлюру застрелил в Париже часовых дел мастер Шварцбард. Не знаю, что стало с мосье Энно, он был маленьким человеком, историки им не занимаются. Но часто, откладывая газету с сообщениями о событиях - в Гватемале или в Конго, в Иране или в Ираке,- я вспоминаю 1919 год, истерзанный Киев и тень таинственного мосье Энно.

Красноармейцы пришли в феврале 1919 года, а в августе город заняли белые. Шесть месяцев были яркими, шумными. Для Киева это была пора надежд, порывов, крайностей, смятения, пора весенних гроз.

Начну с себя. Я уже говорил, что стал тогда советским служащим. В Париже я был гидом, потом на товарной станции разгружал вагоны, писал очерки, которые печатала «Биржевка». Все это, включая газетную работу, не требовало большой квалификации. Но дальнейшая страница моей трудовой книжки воистину загадочна; я был назначен заведующим «секцией эстетического воспитания мофективных детей» при киевском собесе. Читатель улыбнется, улыбаюсь и я. Никогда до того времени я не знал, что такое «мофективные дети». Читатель тоже, наверно, не знает. В первые годы революции были в ходу таинственные термины. «Мофективный» - означало морально дефективный; под это понятие подходили и несовершеннолетние преступники, и дети трудновоспитуемые. (Когда это мне объяснила сухопарая фребеличка, я понял, что в детстве я был наимофективнейшим.) Почему мне поручили эстетическое воспитание детей, да еще свихнувшихся? Не знаю. К педагогике я никакого отношения не имел, а когда в Париже моя дочка начинала капризничать, знал только один способ ее утихомирить, отнюдь не педагогический: покупал за два су изумрудный или пунцовый леденец.

Впрочем, в те времена многие занимались не своим делом. М. С. Шагинян, читавшая лекции по эстетике, начала обучать граждан овцеводству и ткацкому делу, а И. Л. Сельвинский, закончив юридический факультет и курсы марксизма-ленинизма для профессоров, превратился в инструктора по сбору пушнины.

В «мофективной секции» два или три месяца проработал юноша, случайно не обнаруженный угрозыском: он торговал долларами, аспирином и сахаром. Кроме того, он писал неграмотные стихи (он говорил: «Извиняюсь, но жутко эротические»). Многие черты героя романа «Рвач», написанного мною в 1924 году, взяты из биографии

этого моего сослуживца. В педагогике он разбирался еще меньше меня, но был самоуверен, развязен, вмешивался в разговоры педагогов или врачей. Помню одно заседание; говорили о влиянии на нервную систему ребенка белков, жиров, углеводов. Молодой автор «жутко эротических» стихов вдруг прервал седого профессора и заявил: «Эти штучки вы бросьте! Я сам вырос нервный. Уж если разбирать по косточкам, то и жиры полезны, а главное, белки...»

Я предупреждал педагогов и психиатров, что я круглый невежда, но они отвечали, что и хорошо работаю. Создалась репутация: Эренбург специалист по эстетическому воспитанию детей; и осенью 1920 года, когда я вернулся в Москву, В. Э. Мейерхольд предложил мне руководить детскими театрами Республики.

Мы долго разрабатывали проект «опытно-показательной колонии», где малолетних правонарушителей можно будет воспитывать в духе «творческого труда» и «всестороннего развития». То была эпоха проектов. Кажется, во всех учреждениях Киева седоволосые чудаки и молодые энтузиасты разрабатывали проекты райской жизни на земле. Мы обсуждали, как действуют на чрезмерно нервных детей чересчур яркие краски, влияет ли на коллективное сознание многоголосая декламация и что может дать ритмическая гимнастика в борьбе с детской проституцией.

Несоответствие между нашими дискуссиями и действительностью было вопиющим. Я занялся обследованием исправительных заведений, приютов, ночлежек, где ютились беспризорные. Мне пришлось составлять доклады, речь шла уже не о ритмической гимнастике, а о хлебе и ситце. Мальчишки убегали к различным «батькам», девочки зазывали военнопленных, возвращавшихся из Германии.

В секции работал молодой художник Паня Пастухов, человек крайне застенчивый. Однажды я его направил в приют для девочек-беженок, организованный в 1915 году. Пастухов пришел потрясенный. Оказывается, девочки успели вырасти и, при смене различных правительств брошенные на произвол судьбы, стали добывать себе хлеб; у некоторых уже были грудные дети. Когда Пастухов начал говорить о том, что ученье - свет, одна из девиц игриво ему сказала: «Мужчина, лучше угостите папирсой...»

Помещалось наше учреждение в особняке на Липках. Помню в большом зале амбирный секретер с наляпанным при описи большим ярлыком. Как-то на секретере я обнаружил грудного младенца - его подкинули ночью. В соседнем особняке помещалась губчека; туда то и дело подъезжали машины. В саду быстро все зазеленело; я слушал споры о методе Далькроза и глядел в окно: цвела акация.

В те времена люди работали зачастую и нескольких учреждениях. Помимо «мофективной секции», я делал много другого, например заседал в «секции прикладного искусства». Время, казалось, было для искусства неблагоприятным - то и дело на улицах постреливали; мосье Энно не терял времени, и Киев был окружен всевозможными бандами; «стратеги» спорили, кто раньше ворвется в город - петлюровцы или деникинцы. Но «секция прикладного искусства» сделала многое. Говорю не о себе, я и в этом деле был если не профаном, то дилетантом, а в секции работали хорошие специалисты, киевские художники - В. Меллер, Прибыльская, Маргарита Генке, Спасская. Мы устраивали выставки народного искусства, мастерские вышивок и керамики. Я познакомился с талантливой крестьянкой Ганной Собачка; у нее было удивительное чувство цвета. На Крещатике появились огромные декоративные панно с украинским орнаментом.

Я увидел глиняных зверей, вылепленных Гончаром. Иван Тарасович был одним из последних художников, представлявших традиционное народное творчество. В те годы его звери не были ни баранами, ни собаками, ни львами -они принадлежали к неизвестной зоологам породе, каждый был неповторим. (Народное творчество вдохновляется природой, но никогда ее не копирует; и если вологодские кружевницы изучали заиндевшее окно, то именно потому, что узоры инея похожи на джунгли, на звездное небо, на буквы несуществующего алфавита.)

В Киеве я познакомился с писательницей С. З. Федорченко, автором интересной книги «Народ на войне»; в годы войны она работала сестрой милосердия в военном лазарете и записывала разговоры солдат между собой. Я переписал тогда размышления одного солдата об искусстве: «Вот у нас один вольноопределяющийся рисует, так так похоже все, будто на самом деле, даже скучно глядеть...» Устарели различные литературные манифесты, всяческие

художественные «измы», а слова солдата, оброненные в 1915 году, мне кажутся теперь не только живыми, но и злободневными.

Работал я также в «литературной студии»: учил начинающих стихосложению. (Хотя я в то время писал расхлябанным «свободным стихом», ямб от хоря отличить я все же мог.) Брюсов мне долго доказывал, что можно научить мало-мальски способного человека писать хорошие стихи; Гумилев, разделяя это мнение, говорил, что он даже из Оцупа сделал поэта. А я в обучение поэзии не верил и не верю: в школе, как бы она ни называлась - студией, курсами, институтом или академией,- можно только научить читать стихи, то есть поднять эстетическую культуру учащихся.

Среди учеников студии был вежливый, застенчивый юноша Н. Н. Ушаков. Я рад, что недолгая эпопея моего учительства в киевской студии не помешала ему стать хорошим поэтом. Я с ним потом встречался и убедился, что он на меня не в обиде.

В доме на Николаевской помещались и Союз писателей, и рабис, и литературная студия, и многое другое; там спорили о футуризме, распределяли художников для украшения улиц, читали лекции о марксизме, выдавали охранные грамоты и всевозможные удостоверения.

Внизу, в подвале, помещался «Хлам», он же бывший «Клак». Там я встречал киевского поэта Владимира Маккавейского. Незадолго перед этим он издал сборник сонетов «Стилос Александрии». Он великолепно знал греческую мифологию, цитировал Лукиана и Асклепиада, Малларме и Рильке, словом, был местным Вячеславом Ивановым. Заглянув теперь в его книгу, я нашел всего две понятные строки - о том,

Что мумией легла Эллада
В александрийский саркофаг.

Маккавейскому очень хотелось быть александрийцем, но время для этого было неподходящее.

Другим киевским поэтом - правда, не домоседом - был Бенедикт Лившиц. Я помнил его неистовые выступления в сборниках первых футуристов. К моему удивлению, я увидел весьма культурного, спокойного человека; никого он не ругал, видимо, успел остыть к увлечениям ранней молодости. Он любил живопись, понимал ее, и мы с ним беседовали предпочтительно о художниках. Он мало писал,

много думал: вероятно, как я, как многие другие, хотел понять значение происходящего. (Он погиб в лагере в 1938 году.)

Среди «северян» в «Хламе» выделялся О. Э. Мандельштам - он уже был известен по книге «Камень». Помню, как Осип Эмильевич прочитал чудесные стихи «Я изучил науку расставанья...».

Метеором промелькнул В. Б. Шкловский; прочитал доклад в студии Экстер, блистательный и путаный, лукаво улыбался и ласково ругал решительно всех.

В «Хламе» я познакомился с мечтательным, кудреватым Л. В. Никулиным; он как-то прочитал нам стихи, очень меланхоличные, - про гроб.

Натан Венгров писал стихи для детей. Он устроил «день детской книги» - на Крещатике поставили огромные панно, и улицу заполнили медведята, слоны, крокодилы. Венгров мне доказывал, что я - детский поэт и случайно занимаюсь не своим делом. (Я в жизни многое перепробовал, но для детей никогда не писал.)

Приходила в «Хлам» известная актриса Вера Юренева; часто ее сопровождал юноша, почти подросток, с неизменно насмешливым выражением лица; когда нас познакомили, он буркнул: «Миша Кольцов».

Среди украинских поэтов самым шумным был футурист Семенко; он был невысокого роста, но голос у него был сильный, он отвергал все авторитеты и уважал только Маяковского. Встречал я П. Г. Тычину, молчаливого, мечтательного; казалось, что он все время к чему-то прислушивается; была в нем мягкость, доходящая до смущения. Поглядев на него, я как-то сразу поверил, что он настоящий поэт.

В секции еврейских писателей шла лихорадочная работа: нужно было в короткий период между петлюровцами и деникинцами успеть подумать, написать, напечатать. В Киеве тогда находились Бергельсон, Маркиш, Квитко, Добрушин. Перец Маркиш выглядел красивым юношей, с копной волос, неизменно вздыбленных, с насмешливыми и печальными глазами. Все его называли «бунтарем», говорили, что он покушается на классиков, низвергает кумиры, а мне он при первом знакомстве напомнил бродячего еврейского скрипача, который на чужих свадьбах играет печальные песни.

В Киеве я познакомился со многими художниками. Александра Александровна Экстер немало времени провела в Париже, дружила с Леже, числилась кубисткой. Однако ее работы были бесконечно далеки от урбанистических видений Леже; больше всего увлекал Экстер театр (она работала в киевских театрах). Не знаю, почему так получилось, но и среди учеников Александры Александровны, и среди молодых художников, с нею встречавшихся, можно было тоже обнаружить страсть к театру, к зрелищу. Почти все художники, которых я тогда встречал в Киеве, стали художниками театра: Тышлер, Рабинович, Шифрин, Меллер, Петрицкий.

«Страсть к театру»... Я написал эти слова и невольно подумал об одном из учеников Экстер - о двадцатилетнем Саше Тышлере. Его дальнейшая судьба лучше всего подтверждает ту страсть к театру, которая характеризует художников Киева. Дело, конечно, не в том, работал ли Икс или Игрек для театра: этим занимались почти все советские художники хотя бы потому, что были периоды, когда красочность, фантазия, мастерство допускались скорее на сцене, нежели в выставочном зале. А. Г. Тышлера москвичи знают именно по театральным постановкам. Его декорации к «Королю Лиру» условны и реальны, как стих Шекспира. Но поразительно другое: Тышлер и в станковой живописи сохраняет театральное восприятие мира. Помню его картину, изображавшую расстрел солдатами почтового голубя; он написал ее лет за двадцать до пикассовской голубки. Только художник, способный воспринять пир небожителей, о котором писал Тютчев, как феерическую трагедию, мог в тридцатые годы двадцатого века взяться за подобную тему.

Первые года революции были годами не только взлета сценического искусства, но и повального увлечения театром. В маленьких городах Украины бродячие актеры, мечтавшие наконец-то поесть досыта, потрясали зал, заставляя зрителей забыть о недоданных пайках, о нетопленных квартирах, о ночных перестрелках. А Киеву повезло: он получил Константина Александровича Марджанова. Это был человек взволнованный, полный смелых замыслов, мягкий и, однако, непримиримый. Помню, как он горячился (мы сидели в буфете, пили поганый чай, и я ему рассказывал об Испании - он готовил пьесу Лопе де Вега): «Театр - это театр! Я сказал в горисполкоме, что горисполком - это горисполком. Им

хочется, чтобы актеры на сцене пили чай взаправду. А что они скажут, если люди, которые пьют чай в буфете горисполкома, начнут произносить монологи, заламывать руки и говорить о восстановлении городского хозяйства гексамером?..» Киев увидел «Фуэнте овехуна», и в зал старого соловцовского театра ворвался ветер. Мы долго не расходились, стояли и аплодировали.

Марджанову понравилась пьеса «Рубашка Бланш», которую я написал с А. Н. Толстым, и он решил ее поставить. Декорации писал Н. А. Шифрин. Кажется, после второй или третьей репетиции в город ворвались деникинцы.

Я часто встречал двух поклонников Марджанова, неразлучных приятелей малолетних (но не «мофективных») - брата Любы Гришу Козинцева и Сережу Юткевича. Они пригласили меня в помещение, где прежде был «Кривой Джимми»: устроили «народный балаган», то есть один из тех эксцентричных спектаклей, которые в голодные и холодные годы тешили зрителей.

На Софийской улице, возле Думской площади, было маленькое грязное кафе; держал его худущий грек с длинным и страстным лицом моделей Эль Греко. В окне была вывеска: «Настоящий свежий простокваш». Грек готовил душистый турецкий кофе, и мы к нему часто ходили - поэты, художники, актеры. Для меня это кафе связано с моей дальнейшей судьбой. Там я иногда рассказывал Любе, молоденькой студентке Педагогического института Ядвиге, Наде Хазиной, которая потом стала женой О. Э. Мандельштама, о моих заграничных похождениях. Я фантазировал: что делал бы добрый французский буржуа или римский лаццарони, оказавшись в революционной России? Так рождались персонажи романа «Хулио Хуренито», который я написал два года спустя.

Я продолжал писать стихи; лучшими они не становились, но тон изменился. Я еще не понимал всего значения событий, но, несмотря на различные беды того времени, мне было весело.

Наши внуки будут удивляться,
Перелистывая страницы учебника:
«Четырнадцатый... семнадцатый, девятнадцатый...
Как они жили?.. бедные!.. бедные!..»
Дети нового века прочтут про битвы.
Заучат имена вождей и ораторов,

Цифры убитых

И даты.

Они не узнают, как сладко пахли на ноле брани розы.

Как меж голосами пушек стрекотали звонко стрижи,

Как была прекрасна в те годы

Жизнь.

Если задуматься над далеким прошлым, многое открывается. Внешне все выглядело странно. Вокруг города рыскали банды; каждый день рассказывали о погромах, убийствах. Тревожно вскрикивали машины. Деникинцы и петлюровцы состязались, кто скорее дойдет до Киева. Не раз я слышал злой шепот: «Недолго им царствовать...» А мы сидели над проектами, обсуждали, когда сдадут в печать третий том сочинений Чехова или Коцюбинского, где лучше поставить памятник Революции... Мы читали стихи, смотрели картины, и то внутреннее веселье, о котором я говорил, светилось в глазах не только четырнадцатилетнего Гриши Козинцева, но и Константина Александровича Марджанова, а ему тогда было под пятьдесят. Дело не в возрасте - или, если угодно, в возрасте революции: ей было по московскому исчислению два года, а по местному - несколько месяцев...

Есть воспоминания, которые радуют, приподымают, видишь порывы, доброту, доблесть. Есть и другие... Напрасно говорят, что время все исцеляет; конечно, раны зарубцовываются, но вдруг эти старые раны начинают ныть, и умирают они только с человеком.

Мне предстоит рассказать о нехорошем. За два века до нашей эры Плавт веселил римлян своими комедиями; от них в памяти остались четыре слова: «Homo homini lupus est». И мы часто говорим о морали того общества, которое построено на корысти, на борьбе за кусок пирога: «Человек человеку - волк». Плавт напрасно приплел к делу волков. П. А. Мантейфель, изучавший жизнь этих животных, мне говорил, что волки редко дерутся друг с другом, да и на людей нападают только доведенные голодом до безумия. А я в моей жизни не раз видел, как человек травил, мучил, убивал других безо всякой к тому нужды. Если бы звери могли размышлять и сочинять афоризмы, то, наверно, какой-нибудь седой волк, у которого его сосед вырвал клочок шерсти, пролаял бы: «Волк волку - человек».

Что мне сказать о киевском погроме? Теперь никого ничем не удивишь. В черных домах всю ночь напролет кричали женщины, старики, дети; казалось, это кричат дома, улицы, город.

Перец Маркиш написал в те годы поэму о погроме в Городище; там убили пятьсот человек. В Бабьем Яру убили свыше семидесяти тысяч евреев, в Европе - шесть миллионов... Я себя ловлю на этом сопоставлении. Недавно я слышал машину, которая сама сочиняет музыку. Так вот мне кажется, что вместо сердца отстукивает цифры мыслящая машина. Да, в 1919 году палачи еще не додумались до газовых камер; зверства были кустарными: вырезать на лбу пятиконечную звезду, изнасиловать девочку, выбросить в окно грудного младенца.

Во дворе лежал навзничь старик и пустыми глазами глядел на пустое осеннее небо. Может быть, это был молочник Тевье или его зять, старожил обреченного Егупца? Рядом была лужица: не молока - крови. А ветер беспокойно теребил бороду старика.

Как во всякой трагедии, были и фарсовые сцены. В квартиру моего тестя, доктора М. И. Козинцева, вбежал рослый парень в офицерской форме и крикнул: «Христа распяли, Россию продали!..» Потом он увидел на столе портсигар и спокойно, деловито спросил: «Серебряный?..»

Я решил пробраться в Коктебель, к Волошину; его дом казался мне убежищем. Мы ехали неделю до Харькова. На станциях в вагоны врывались офицеры или казаки: «Жида, коммунисты, комиссары, выходи!..» На одной станции из нашей теплушки выбросили художника И. Рабиновича.

Харьков, потом Ростов, потом Мариуполь, Керчь, Феодосия... Мы ехали добрый (нет, недобрый) месяц, зарывались в темные углы теплушек, валялись в трюме пароходов, среди больных сыпняком, которые бредили и умирали, лежали, густо обсыпанные вшами. Снова и снова раздавался монотонный крик: «А кто здесь пархатый?..» Вши и кровь, кровь и вши...

На замызганных заборах красовались портреты Деникина, Колчака, Кутепова, Май-Маевского, Шкуро. На улицах подвыпившие кубанцы проверяли документы. Кто-то вопил: «Держи комиссара!..» В харьковской гостинице «Палас» помешалась контрразведка: прохожие обходили этот дом. В кафе за одним столиком сидели французские офицеры, за другим - спекулянты; они пили кофе по-варшавски. Повсюду пестрели плакаты «освага»: «Вперед, на Москву!» - конь Георгия Победоносца попирал копытами носатого еврея.

Метались из города в город московские адвокаты, питерские литераторы, аристократки, повязанные пятью платками, с шляпными коробками, куда они клали еду, актеры, гувернантки, беспризорные. Какой-то шутник декламировал в разбитой, загаженной гостинице:

Бежать? Но куда же? На время - не стоит труда,
А вечно бежать невозможно...

Сумасшедшая старуха в солдатской шинели, в шляпе с фиолетовыми перьями шептала: «Нет, Клемансо нас не оставит на произвол судьбы...» Из ночного кабака гурьбой выхолили пьяные офицеры, они пели:

Генерал у нас Шкуро,
Чхать нам на Европу,
Мы поставим ей перо...

Дальше шло непечатное.

(В 1925 году я увидел на парижских стенах афишу: цирк «Буффало» показывает публике новый аттракцион - джигитовку казаков под руководством «знаменитого генерала Шкуро». Бывший погромщик продолжил свою карьеру на цирковой арене.)

Обыватели, выходя утром на базар, прислушивались, не стреляют ли. Все были стреляными, и никто ничему не верил. В людях смелых, понимавших, за что они борются, гражданская война рождала ненависть, стойкость, доблесть. А в надыханных, насиженных домишках копошились перепуганные людишки; эти не хотели спасать ни революцию, ни старую Россию, они хотели спасти себя. Из страха они доносили то чекистам, то контрразведчикам, что у соседки племянник в продотряде или что сосед выдал свою дочку за белого офицера. Они боялись шагов на лестнице, скрипа дверей, шепота в подворотне. Самые хитроумные прятали под половицей «пятак» и портреты Маркса, готовясь через неделю или через месяц положить под ту же половицу портрет Май-Маевского, царские деньги, даже Николу Чудотворца.

На вокзалах приходилось прыгать через тела: лежали тифозные, беженцы, мешочники.

Вот этот кудрявый паренек еще вчера пел:

Смело мы в бой пойдем

За власть Советов...

Теперь он горланит:

Смело мы в бой пойдем

За Русь святую

И всех жидов побьем

Напропалую.

Ни к какой бой он не собирался и не собирается; он торгует валенками, украденными на складе.

Казаки были лютыми; здесь сказались и традиции, и злоба за развороченную, разрубленную жизнь, и смятение.

В белой армии были черносотенцы, бывшие охранники, жандармы, вешатели. Они занимали крупные посты в администрации, в контрразведке, в «осваге». Они уверяли (а может быть, сами верили), что русский народ обманут коммунистами, евреями, латышами; его следует хорошенько выпороть, а потом посадить на цепь.

Много лет спустя я купил в Париже сборник стихов некоего Посажного, который называл себя «черным гусаром». Он работал на заводе Рено, проклинал «лягушатников-французов» и сокрушался о прошлом великолепии, вспоминая своего боевого коня:

Пегас в столовую вступил
И кахетинского попил.
Букет покушал белых роз.
Покакал чинно на поднос.
Была не хамская пора.
Кричала публика «ура».
Играли громко зурначи.
Воспоминанье, замолчи!
Свои идеалы он выразил так:
Погибнут те, что нынче алы.
Давно им к дьяволу пора!
И вновь запенятся бокалы
У тех, кто были юнкера.

Читая эти заклинания в 1929 году, я смеялся, а в 1919 году этакий Посажной врывался в теплушки, бил наотмашь по лицу, расстреливал.

Но больше всего среди белых было людей, потерявших голову, с телом, расчесанным от вшей, с сердцем, расчесанным от настоящих и предполагаемых обид, от резни, арестов, расстрелов, от плача городов, переходивших из рук в руки, от сознания, что завтра их приставят к той же грязной стенке, к которой сейчас они тащат очередную партию «подозрительных».

Леонгард Франк назвал одну из своих книг «Человек добр». А человек не добр и не зол: он может быть добрым, может быть и очень злым. Конечно, среди белых были не только садисты, было много обыкновенных людей, по природе добродушных и прежде никого не обижавших; но доброту им пришлось оставить лома вместе с уютом и семейными безделками. Злоба диктовалась отчаянием. Даже осенью 1919 года, когда белые захватили Орел, они не чувствовали себя победителями. Они неслись вперед, как по чужой стране, повсюду видели врагов. В кабаках белые офицеры требовали, чтобы дежурный певец спел им модный романс:

Ты будешь первый.
Не сядь на мель!

Чем крепче нервы,
Тем ближе цель.

Попойки часто кончались стрельбой то в посетителей, то в зеркала, то и воздух - офицерам мерещились партизаны, подпольщики, большевики. Чем больше они кричали о своих крепких нервах, тем вернее эти нервы сдавали; цель расплывалась в тумане спирта, ненависти, страха, крови.

Попадались среди «добровольцев» люди случайные, наивные романтики или слабовольные, поддавшиеся уговорам товарищей, загипнотизированные разговорами о «верности», о «чести», о «присяге».

Встретил я и одного из растерявшихся; это был прапорщик, который любил стихи Блока. Бог знает, какими судьбами он оказался в белой армии. Он спас мне жизнь, и мне горько признаться, что я не запомнил его имени. Было это между Мариуполем и Феодосией. На пароходе мы ехали долго: сначала был пожар; потом суденышко оказалось в Азовском море, скованном льдами. Не было хлеба. Больные сыпняком ползли по льду. В одну из последних ночей огромный детина в папахе вытащил меня на обледеневшую палубу. Все спали. Офицер был куда сильнее меня, но он перепил. Мы боролись. Он тупо повторял: «Сейчас я тебя буду крестить...» Он толкал меня к борту. Помню, я подумал: хорошо, что в воду мы скатимся вместе... Ядвига, которая ехала с нами, услышав крики, кинулась в кубрик к прапорщику, тому самому, фамилию которого я запомнил. Он поднялся на палубу: «Стой! Стрелять буду!...» Увидев револьвер, мой «крестный отец» разжал объятия.

В Феодосии висели те же портреты, и генерал Шкуро лихо улыбался. Я увидел чистых, аккуратно выбритых англичан. Возле их походной кухни толпились голодные детишки: белые насильно эвакуировали железнодорожников (не помню, из Орла или Курска). Эвакуированные ютились в жалких хибарках в Карантинной слободке. Англичане глядели уныло на голодных, ободранных людей они были вне игры; их послали сюда, как могли послать в Найроби или в Карачи; они выполняли приказ. Конечно, они ничего не знали ни о нефтяных акциях, ни о распоротых животах, ни о судьбе детей, которые жадно нюхали воздух - пахло мясом...

Волошин меня ласково встретил; я сбивчиво рассказал о путевых приключениях. Глаза у Макса были, как всегда, приветливые и далекие. Он заговорил о судьбе России, о предсказаниях пророка Иезекииля. Пришла мать Волошина, Пра, и его оборвала: «Макс, хватит! Они голодные, им не до твоих историй...» Она принесла сковородку с картошкой.

Моя дочь иногда проводит отпуск в Коктебеле, загорает на пляже, где много красивых камешков, купается, лазит по горам. Когда она мне рассказывает об этом, я вспоминаю далекое прошлое: мне трудно себе представить, что в Коктебеле можно отдыхать. Я там тоже бродил по берегу и собирал не камешки, а куски дерева, выброшенные морем; ими я топил жаровню или, как говорят в Крыму, мангалку. Раз на берегу я нашел дохлую чайку, выпотрошил ее, сварил; она пахла протухшей рыбой, но мы ее съели.

Вскоре после нашего приезда я обменял рваный парижский пиджак на дрова; зима была суровая, все время дул ледяной норд-ост. Я топил печь, и в комнате мы не мерзли. Но никогда, кажется, я не знал такого постоянного, неумного голода, как в Коктебеле. Часто я варил суп на стручках перца.

Мы прожили там девять месяцев, мне теперь кажется, что это были долгие годы. Сначала было очень холодно, потом очень жарко. Мать Любы надавала ей свои кольца, брошки. Мы их продавали. Потом стало нечего продавать. О литературном заработке было глупо мечтать. Весной я надумал устроить детскую площадку для крестьянских детей; очевидно, киевские фребелички меня убедили в моих педагогических способностях.

В деревне жили болгары, по большей части кулаки. Они не очень-то одобряли белых, которые, реквизируя продовольствие, а иногда и без расписки забирали свинью или бочку вина, но больше всего боялись прихода большевиков. Правда, я нашел болгарскую семью, которая помогала подпольщикам и ненавидела белогвардейцев,- это были Стамовы. Они пользовались уважением других крестьян, считались честными, трудолюбивыми, но, когда заходил разговор о политике, их не слушали. Жил еще в деревне портной, русский, он тоже ждал прихода Красной Армии, иронически комментировал военные сводки белых: «возле Умани «заняли более выгодные позиции», это значит - пятки замелькали, не иначе...» Но портной был пришлым и справедливо боялся, как бы на него не донесли.

Крестьяне хотели, чтобы я обучил их детей хорошим городским манерам, а я читал ребятам «Крокодила» Чуковского; дома они повторяли: «И какой-то малыш показал ему шиш»; родителям это не нравилось. Я хотел приобщить детей к искусству, развить в них фантазию, рассказал им про соловья Андерсена; мы решили устроить спектакль; написанных ролей не было. Мальчик, исполнявший роль соловья, сам должен был придумать, чем он восхищал богдыхана. В конце представления старый богдыхан лежал на смертном ложе, и его окружали воспоминания - хорошие и дурные поступки. Одни ребята повторяли то, что слышали дома: «А ты помнишь, как ты украл у старухи гуся?», или: «А ты помнишь, как ты дал на свадьбу мандарину двадцать рублей золотом?..» Другие дети придумывали более сложные истории; некоторые я записывал; помню девочку, которая сурово спрашивала: «Скажи, богдыхан, ты помнишь, как ты позвал в Китай актрису? Она пела почти как соловей, ты ей дал большую медаль, ты ее кормил золотыми рыбками. А потом она спела одну песенку, и ты рассердился. А почему ты рассердился, богдыхан? Она полюбила чужого солдата. Разве это плохо? У солдата устроили обыск и нашли одну книжку, ты сказал, что книжка нехорошая, и ее заперли в сарае, допрашивали с утра до ночи, ничего не давали есть и били китайскими палками, и она умерла, очень молодая. А теперь ты хочешь, чтобы соловей к тебе вернулся? Нет, богдыхан, он никогда не вернется, потому что у него крылья, ты его не посадишь в сарай, он когда улетит, его не поймать...» Пьесу мы долго репетировали; наконец назначили спектакль, пригласили родителей. После этого по деревне пошли толки, что и «красный». Некоторые крестьяне запретили детям ходить на площадку.

Роковыми, однако, оказались занятия лепкой. Я и в этом не хотел стеснять фантазию детей; они притащили домой загадочных зверей, людей с огромными головами, а один мальчишка вылепил рогатого черта. Вот тогда-то вмешался поп; он обходил дворы, говорил: «Это жид и большевик, он хочет перегнуть детей в дьявольскую веру...» Площадку пришлось закрыть; просуществовала она три или четыре месяца. Не знаю, дала ли она что-нибудь детям, но я иногда приносил домой бутылку молока или несколько яиц. Платить полагалось натурой, сколько и как, обусловлено не было. Некоторые родители ничего не давали. Дети приходили на площадку с едой, и мне трудно

было смотреть, как они ели,- я боялся выдать голод. Один малыш, уплетая хлеб с салом и ватрушки, сказал мне: «Отец говорил, чтобы тебе ничего не давать...»

Было уже тепло. Я ходил в пижаме, привезенной из Парижа, босиком. Один раз я пошел в деревню - хотел купить молоко или каймак. Зашел во двор кулака. На меня спустили собаку, которая схватила меня за икру. Дело было не в укусе, но она разорвала штанину в клочья. Пришлось обрезать и другую. Теперь я ходил в коротких штанишках. Может быть, это меня молодило, не знаю (судя по фотографии, вид у меня был страшноватый - я очень отощал). Я прыгал с детишками в костюме, которому мог бы позавидовать любитель античной простоты Раймонд Дункан. А в общем, чего только человеку не приходится делать, особенно в эпохи, которые называют историческими!..

Иногда я убегал на час-другой в горы. Окрестности Коктебеля красивы трудной для человека красотой. Они сродни Арагону или Старой Кастилии - то лиловатые, то рыжие склоны гор, ни дома, ни дерева, макет жестокого мира, некогда вдохновлявшего Эль Греко. Впрочем, может быть, таким мне казался Коктебель от всего, что происходило кругом.

Войдя впервые в мастерскую Волошина, я вспомнил Париж: та же царевна Таиах, полки, на них книги, предпочтительно французские. Макс был скорее мрачен, исчезло прежнее легкомыслие; и все же он часто дурачился, мистифицировал; получалось смешно, но я не смеялся. Иногда мы подолгу беседовали - это было как будто продлением разговоров в мастерской Риверы или в «Ротонде»; но говорили мы не потому, что темы, волновавшие нас пять лет назад, казались нам живыми, а потому, что нам хотелось на несколько часов уйти в прошлое.

В доме Волошина жила Майя Кудашева с матерью, француженкой. Отец Майи был русским, и родилась она в России, но картавила, как парижанка, а стихи писала по-французски. Волошин описал ее внешность:

Волною прямых лоснящихся волос
Прикрыт твой лоб.
Над головою сиянье вихрем завилось.
Твой детский взгляд улыбкой сужен.

Недетской грустью сужен рот,
И цепью маленьких жемчужин
Над бровью выступает пот.

В Москве, откуда Майя приехала, она вращалась в литературной среде, знала В. Иванова, Андрея Белого, дружила с Мариной Цветаевой. Ее мать была подавлена событиями, которые никак не вязались ни с ее понятиями о порядочности, ни с пьесами Ростана. А Майя, несмотря на холод, голод и прочие беды, жила своей жизнью... Дальнейшая ее судьба такова: начав переписываться с Роменом Ролланом, она поехала к нему в Швейцарию и стала его женой. Несколько лет назад мы встретились в Париже. Мария Павловна была занята организацией музея Роллана, просила меня помочь ей русскими экспонатами. О Коктебеле мы не поговорили, хотя было что вспомнить...

В. В. Вересаев так писал про три года, проведенные им в Коктебеле: «За это время Крым несколько раз переходил из рук в руки, пришлось пережить много тяжелого; шесть раз был обворован; больной, с температурой в 40 градусов, полчаса лежал под револьвером пьяного красноармейца, через два дня расстрелянного; арестовывался белыми; болел цингой». В начале 1920 года Викентию Викентьевичу было трудно; несколько поддерживала его врачебная практика. Смеясь, он рассказывал мне, что сначала крестьяне не верили, что он врач,- кто-то рассказал им, что он писатель. В окрестных деревнях свирепствовал сыпняк. Вересаев как-то осмотрел больного и подсчитал, когда должен наступить кризис; в указанный срок температура упала, и крестьяне поверили, что Вересаев действительно доктор. Платили ему яйцами или салом. Был у него велосипед, а вот одежда сносилась. У меня оказался странный предмет - ночная рубашка доктора Козинцева, подаренная мне еще в Киеве. Мы ее поднесли Викентию Викентьевичу, в ней на велосипеде он объезжал больных.

Когда Люба заболела сыпняком, Вересаев к нам часто приходил, и я с ним подолгу беседовал. Прежде я знал некоторые его книги и думал, что он человек рассудочный, прямолинейный; а он обожал искусство, переводил древнегреческих поэтов, страдал от грубости и примитивизма. Конечно, в борьбе против белогвардейцев все его симпатии были на стороне Москвы, но многого он не понимал и не

принимал. Потом я прочитал его роман «В тупике», где он рассказывал о жизни русской интеллигенции в первые годы революции. Я нашел мысли Викентия Викентьевича, вложенные в уста то ученого-демократа, то его дочки-большевички. Вересаев был на семь лет моложе Чехова, но, конечно, его следует отнести к тому же поколению; да и по природе он чем-то напоминал Антона Павловича: были в нем снисходительность к чужим слабостям, культ добра и спокойная, постоянная печаль, порождаемая не столько обстоятельствами, сколько глубоким знанием людей. В романе Вересаева Катя с горечью говорит своему отцу, старому русскому интеллигенту: «Милый мой, любимый!.. Честность твоя, благородство твое, любовь твоя к народу - ничего, ничего это никому не нужно...» Так рассуждали многие юноши в 1920 году. В 1960 году их дети и внуки поняли, что им до зарезу нужны честность, благородство, любовь к народу, которые когда-то вдохновляли Антона Павловича и его духовных друзей.

Об Осипе Эмильевиче Мандельштаме я расскажу в следующей главе. С ним приехал его брат Александр Эмильевич, человек добрый, вполне реальный, который не раз помогал и своему брату и нам. Жили в Коктебеле литературовед Д. Д. Благой и его жена врач. Жена писателя Андрея Соболя, Рахиль Сауловна, тоже была врачом; она нянчила годовалого сына Марка. (В 1949 году поэт Марк Соболев подарил мне мою книжку, на которой стояла надпись Андрея Соболя, и написал стихи, кончавшиеся так: «Сын вписывает через четверть века слова любви под подписью отца».)

Сыпняк вообще скверная болезнь, а в тогдашних условиях выходить больного было трудно. Ухаживать за Любой мне помогала Ядвига: но она сама была хрупкой двадцатилетней девушкой. Болезнь проходила тяжело. Врач хотел впрыснуть камфару, а не было шприца. Александр Эмильевич поехал верхом в Феодосию, с трудом достал шприц, торопился и по дороге его разбил; ему пришлось вторично поехать в город. Потом понадобился спирт. Я обходил дома, где жили родители моих учеников, просил водку; мне отвечали, что белые все выпили. В одном доме справляли свадьбу: увидев на столе большие бутылки, я обрадовался, но хозяева сказали: «Хочешь пить, садись, нальем, а навынос нет...»

Вересаев приказал мне все время проверять, какой пульс у Любы. Ночью пульс исчез. Вересаев, на беду, уехал в другую деревню. Я побежал к Благой и Соболю; они нервничали, говорили, что положение безнадежное, незачем мучить больную; все же я их заставил впрыснуть стрихнин.

После того как температура спала, у Любы оказалось осложнение она была убеждена, что умерла и мы зачем-то устраиваем ей посмертную жизнь. С великим трудом я доставал для нее продукты, готовил, плотал слюнки, а она говорила: «Зачем мне есть? Я ведь умерла». Легко себе представить, как это на меня действовало, а тут нужно было идти на площадку и прыгать с детишками в хороводе.

Потом мы достали машинку для стрижки овец; ею Вересаев обкорнал Любу. К счастью, в наш флигелек начал заглядывать Волошин, он обожал заумные разговоры. Люба говорила, что она видит все сквозь стены, это Макс у нравилось. Осип Эмильевич любил передразнивать разговоры поэтов-символистов: «Как поживаете, Иван Иванович?» - «Да ничего, Петр Петрович, предсмертно живу». Несмотря на трагизм положения, Макс не мог расстаться с любовью ко всему потустороннему. Он искренне увлекался беседами с Любой, а я гадал, что со мной приключится: сойду ли я с ума, заболею тифом или, наперекор всему, выживу? Тоненькая смуглая Ядвига, похожая на героиню итальянских неореалистических фильмов, с утра до ночи стирала белье.

Я говорил, что у меня были собеседники - и Вересаев, и Волошин, и Мандельштам. Но со дня моего приезда в Коктебель меня ждал главный собеседник - тот Сфинкс, что задал мне в Москве загадки и не получил ответа. Зимние ночи были длинными. Люба спала. Под окном шумело рассерженное море. А я сидел и думал. Я начинал понимать многое; это оказалось нелегким - у меня ведь позади были и стихи, и вера, и безверье, мне нужно было связать розовый отсвет Флоренции, неистовые проповеди Леона Блуа, пророчества Модильяни со всем, что я увидел.

Самое главное было понять значение страстей и страданий людей в том, что мы называем «историей», убедиться, что происходящее не страшный, кровавый бунт, не гигантская пугачевщина, а рождение нового мира с другими понятиями человеческих ценностей, то есть перешагнуть из XIX века, в котором, сам того не сознавая, я

продолжал жить, в темные сени иной эпохи. Я понял, что старый мир, который я обличал в «Стихах о канунах», нельзя изменить ни древними заклинаниями, ни ультра новым искусством. Конечно, я оставался самим собой: меня страшили и бессмысленные жертвы, и свирепость расправ, и упрощение сложного мира эмоций; но я понял, что мои оценки спорны:

Рожденный вчера. люблю я вчерашнюю мудрость...

Я написал книжицу «Раздумья» и хочу привести несколько строф из одного стихотворения, помеченного январем 1920 года; стихи слабые, но они выражают мои мысли не только той зимы, а и последующих лет:

Распухла с голоду, сочатся кровь и гной из ран отверстых.

Вопя и корчась, к матери-земле припала ты.

Россия, твой родильный бред они сочли за смертный.

Гнушаются тобой, разумны, сыты и чисты.

Бесплодно чрево их, пустые груди каменеют.

Кто древнее наследие возьмет?

Кто разожжет и дальше понесет

Полупогасший факел Прометея?

Суровы роды. Час высок и страшен.

Не в пене моря, не в небесной синеве.

На темном гноище, омытый кровью нашей,

Рождается иной, великий век.

...

На краткий срок народ бывает призван

Своею кровью напоить земные борозды -

Гонители к тебе придут, Отчизна,

Целуя на снегу кровавые следы.

Меня теперь коробит от нарочито книжного языка «гноище», «чрево», «борозды». Удивительно, как после «Стихов о канунах» и восхищения кубизмом я вдруг сбился на словарь символистов! Впрочем, новый словарь звучал не лучше: выражаясь на нем, я должен был бы объявить, что становлюсь на советскую платформу. А какая у меня могла быть «платформа»? Детская площадка, да и ту вскоре прикрыли...

Жили мы в Коктебеле отнюдь не спокойно: то и дело из Феодосии приезжали военные или охранники искали подпольщиков,

партизан, «смутьянов». Арестовали Мандельштама. Его вскоре выпустили, но это было лотереей - могли расстрелять. Я поглядывал на дорогу с опаской. Много раз в жизни мне приходилось чувствовать себя дичью - прислушиваться к шагам на лестнице или к лифту; это очень противное ощущение - унижительное; но я себя утешал тем, что я по природе не охотник - никого не выслеживал и не арестовывал.

Иногда по ночам мне мерещились герои «Хуренито»: они как будто стучались в двери ненаписанной книги; но у меня не было мысли сесть за роман (можно для шутки добавить, что не было даже бумаги, стихи я записывал на обороте старых конторских счетов). Я думал тогда о другом: как добраться до Москвы? Войне, казалось, не будет конца; разбили Колчака, но в поход двинулись поляки. Как-то я нашел в Феодосии несколько номеров парижских газет. Я узнал, что на выборах во Франции победили правые, что союзники никогда не отдадут плацдармов в России, что они защищают «свободный мир». (Формулы куда Долговечнее правительств.) Действительно, в Феодосии я видел много иностранных офицеров. В порту царило оживление: выгружали пушки, боеприпасы.

В Феодосию я ездил редко: нелегко было найти крестьянина, который согласился бы за весьма скромную плату подвезти человека на своей телеге (на четырех бревнах, все время расплзавшихся), да и не стоило искушать судьбу и охранников. Город был красивым, он напоминал мне Италию, может быть аркадами или ярусами домов на горе; но в городе шла нехорошая жизнь: никто просто не шел по улице одни покрикивали, другие поеживались.

У Осипа Эмильевича было в Феодосии много знакомых: либеральные адвокаты, еврейские купцы, любители литературы, начинающие поэты, портовые служащие. С некоторыми он меня познакомил; были среди них люди симпатичные, но мне казалось, что они побаиваются с нами встречаться.

Мандельштамы уехали: им помог, насколько я помню, начальник порта. Я докучал и Волошину, и моим феодосийским знакомым, чтобы они помогли нам выбраться. Наконец Макс сказал: «Кажется, выходит»... Кончалась затянувшаяся глава: не книги - жизни.

Я говорил, что, когда врангелевцы арестовали Осипа Эмильевича Мандельштама, Волошин тотчас отправился в Феодосию. Вернулся он мрачный, рассказал, что белые считают Мандельштама опасным преступником, уверяют, будто он симулирует сумасшествие: когда его заперли в одиночку, он начал стучать в дверь, а на вопрос надзирателя, что ему нужно, ответил: «Вы должны меня выпустить - я не создан для тюрьмы»... На допросе Осип Эмильевич прервал следователя: «Скажите лучше, невинных вы выпускаете или нет?..» Я понимаю, что в 1919 году в контрразведке такие слова звучали фантастически и что белый офицер мог принять их за симуляцию душевного заболевания: но если задуматься, забыть о тактике, даже о стратегии, то разве не было в поведении Мандельштама глубоко человеческой правды? Он не пытался доказать палачу свою невиновность, откровенно спросил - стоит ли ему вообще разговаривать; он сказал тюремщику, что «не создан для тюрьмы», это ребячливо и в то же время мудро. «Не по времени», - печально заметила Пра. Конечно. У Мандельштама есть стихи про время:

Мне на плечи кидается век-волкодав,
 Но не волк я по крови своей.
 Запихай меня лучше как шапку в рукав
 Жаркой шубы сибирских степей...

Познакомился я с Осипом Эмильевичем в Москве; потом мы часто встречались в Киеве - в греческой кофейне на Софийской; там он прочитал мне свои стихи о революции:

Восходишь ты в глухие годы, о солнце, судия-народ.

Видел я его в тот день, когда Красная Армия оставляла Киев.
 Потом он об этом рассказал:

Не гадают цыганочки кралям.
 Не играют в Купеческом скрипки.
 На Крещатике лошади пали.
 Пахнут смертью господские Липки.
 Уходили с последним трамваем
 Прямо за город красноармейцы,

И шинель прокричала сырая:
– Мы вернемся еще, разумеете!..

Вместе мы пережили в Киеве ночь погрома. Вместе хлебнули горя в Коктебеле. Вместе пробирались из Тбилиси в Москву. Летом 1934 года я искал его в Воронеже.

(Пусти меня, отдай меня, Воронеж,
Уронишь ты меня иль проворонишь.
Ты выронишь меня или вернешь -
Воронеж - блажь, Воронеж - ворон, нож.)

В последний раз я его видел весной 1938 года в Москве.

Мы оба родились в 1891 году; Осип Эмильевич был старше меня на две недели. Часто, слушая его стихи, я думал, что он старше, мудрее меня на много лет. А в жизни он мне казался ребенком, капризным, обидчивым, суетливым. До чего несносный, минутами думал я и сейчас же добавлял: до чего милый! Под зыбкой внешностью скрывались доброта, человечность, вдохновение.

Был он маленьким, шуплым; голову с хохолком закидывал назад. Он любил образ петуха, который разрывает своим пением ночь у стен Акрополя; и сам он, когда запевал баском свои торжественные оды, походил на молоденького петушка.

Он сидел на кончике стула, вдруг куда-то убежал, мечтал о хорошем обеде, строил фантастические планы, заговаривал издателей. В Феодосии он как-то собрал богатых «либералов» и строго сказал им: «На Страшном суде вас спросят, понимали ли вы поэта Мандельштама, вы ответите «нет». Вас спросят, кормили ли вы его, и, если вы ответите «да», вам многое простится». В самые трагические минуты он смешил нас газеллами:

Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек?

Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек.

Тому, кто впервые встречал Мандельштама в приемной издательства или в кафе, казалось, что перед ним легкомысленный человек, неспособный даже призадуматься. А Мандельштам умел работать. Он сочинял стихи не у стола - на улицах Москвы или Ленинграда, о степи, в горах Крыма, Грузии, Армении. Он говорил о Данте: «Сколько подметок, сколько воловьих подошв, сколько сандалий износил Алигьери за время своей поэтической работы, путешествуя по козьим тропам Италии». Эти слова прежде всего

относятся к Мандельштаму. Его стихи рождались от строки, от слова; он сотни раз менял все; порой ясное вначале стихотворение усложнялось, становилось почти невнятным, порой, наоборот, прояснялось. Он вынашивал восьмистишие долго, иногда месяцами, и всегда бывал изумлен рождением стихотворения.

В первые годы революции его словарь, классический стих многими воспринимались как нечто архаическое:

Я изучил науку расставанья

В простоволосых жалобах ночных.

Мне эти строки теперь кажутся вполне современными, а стихи Бурлюка - данью давно сгнувшей моде. Мандельштам говорил: «Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи. Все стало тяжелее и громаднее». Это не было канонами, направлением: «Не стоит создавать никаких школ. Не стоит выдумывать своей поэтики». Стих Мандельштама потом раскрепостился, стал легче, прозрачнее.

Одним поэтам присуще звуковое восприятие мира, другим - зрительное. Блок слышал, Маяковский видел. Мандельштам жил в различных стихиях. Вспоминая свои детские годы, он писал: «Чайковского об эту пору я полюбил болезненным нервным напряжением, напоминавшим желание Неточки Незвановой у Достоевского услышать скрипичный концерт за красным полотном шелковых занавесок. Широкие, плавные, чисто скрипичные места Чайковского я ловил из-за колючей изгороди и не раз изорвал свое платье и расцарапал руки, пробираясь бесплатно к раковине оркестра...» О его чувстве живописи можно судить хотя бы по нескольким строфам, посвященным натюрморту (вспоминаешь холсты Кончаловского):

Художник нам изобразил

Глубокий обморок сирени

И красок звучные ступени

На холст, как струпья, положил...

...

Угадывается качель,

Недомалеваны вуали,

И в этом сумрачном развале

Уже хозяйничает шмель.

Мы с ним часто разговаривали о живописи; в двадцатые годы его больше всего привлекали старые венецианцы - Тинторетто, Тициан.

Он хорошо знал французскую, итальянскую, немецкую поэзию; понимал страны, где пробыл недолго.

Я молю, как жалости и милости,
Франции, твоей земли и жимолости.
Правды горлинок твоих и кривды карликовых
Виноградарей в их разгородках марлевых.
В легком декабре твой воздух стриженный
Индевет денежный, обиженный...

Я много лет прожил во Франции, лучше, точнее этого не скажешь... Размышления о прекрасной «детскости» итальянской фонетики поражали итальянцев, которым я переводил строки из «Разговора о Данте».

Однако самой большой страстью Осипа Эмильевича были русский язык, русская поэзия. «По целому ряду исторических условий живые силы эллинской культуры, уступив Запад латинским влияниям и ненадолго загнивая в бездетной Византии, устремились в лоно русской речи, сообщив ей самобытную тайну эллинистического мировоззрения, тайну свободного воплощения, и поэтому русский язык стал именно звучащей и горячей плотью...» Он отвергал символизм, как чуждое русской поэзии явление. «Бальмонт, самый нерусский из поэтов, чужестранный переводчик... иностранное представительство от несуществующей фонетической державы...» Андрей Белый - «болезненное и отрицательное явление в жизни русского языка...».

Мандельштам, однако, почитал и любил Андрея Белого; после его смерти написал несколько чудесных стихотворений.

На тебя надевали тиару - юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!
Как снежок на Москве, заводил кавардак гоголек,
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок.
Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец...

Писал он с нежностью и о поэтах пушкинской плеяды, и о Блоке, и о своих современниках, о Капе, о степи, о сухой, горячей Армении,

о родном Ленинграде. Я помню множество его строк, твержу их, как заклинания, и, оглядываясь назад, радуюсь, что жил с ним рядом...

Я говорил о противоречии между легкомыслием в быту и серьезностью в искусстве. А может быть, и не было никакого противоречия? Когда Осипу Эмильевичу было девятнадцать лет, он написал статью о Франсуа Вийоне; он находил оправдание для смутной биографии поэта жестокого века: «бедный школяр» по своему отстаивал достоинство поэта. Мандельштам писал о Данте: «То, что для нас. безукоризненный капюшон и так называемый орлиный профиль, то изнутри было мучительно преодолеваемой неловкостью, чисто пушкинской, камер-юнкерской борьбой за социальное достоинство и общественное положение поэта». Опять-таки эти слова применимы к самому Мандельштаму: множество нелепых, порой смешных поступков диктовалось «мучительно преодолеваемой неловкостью».

Некоторые критики считали его несовременным, музейным. Раздавались и худшие обвинения; передо мной том «Литературной энциклопедии», изданный в 1932 году; там сказано: «Творчество Мандельштама представляет собой художественное выражение сознания крупной буржуазии в эпоху между двумя революциями... Для мирозерцания Мандельштама характерен крайний фатализм и холод внутреннего равнодушия ко всему происходящему... Это лишь чрезвычайно «сублимированное» и зашифрованное идеологическое увековечение капитализма и его культуры...» (Статья написана была молодым критиком, который не раз прибегал ко мне, восторженно показывал неопубликованные стихотворения Мандельштама, переписывал его стихи, переплетал, дарил друзьям.) Трудно сказать большую нелепость о стихах Мандельштама. Вот уж воистину кто менее всего выражал сознание буржуазии, и крупной, и средней, и мелкой! Я уже говорил, как в 1918 году он меня порастил глубоким пониманием грандиозности событий: стихи о корабле времени, который меняет курс. Никогда он не отворачивался от своего века, даже когда волкодав принимал его за другого.

Пора вам знать - я тоже современник -
Я человек эпохи Москвошвея,
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!

Попробуйте меня от века оторвать! -
Ручаюсь вам, себе свернете шею!

...

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей...

О Ленинграде:

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.
Ты вернулся сюда,- так плотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей...
Петербург, я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Петербург, у меня еще есть адреса.
По которым найду мертвецов голоса...

Это стихотворение было напечатано в «Литературной газете» в 1932 году. А в 1945-м я слышал, как его повторяла ленинградка, вернувшаяся домой.

Мандельштама не в чем упрекнуть. Разве в том, что и слабость и сила любого человека - в любви к жизни.

Я все отдам за жизнь - мне так нужна забота -
И спичка серная меня б согреть могла:
Колют ресницы, в груди прикипела слеза.
Чую без страха, что будет и будет гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.
Душно, и все-таки до смерти хочется жить.

Кому мог помешать этот поэт с хилым телом и с той музыкой стиха, которая заселяет ночи? В начале 1952 года ко мне пришел брянский агроном В. Меркулов, рассказал о том, как в 1938 году Осип Эмильевич умер за десять тысяч километров от родного города; больной, у костра он читал сонеты Петрарки. Да, Осип Эмильевич боялся выпить стакан некипяченой воды, но в нем жило настоящее мужество, прошли через всю его жизнь - до сонетов у лагерного костра...

В 1936 году он писал:

Не мучнистой бабочкою белой
В землю я заемный прах верну -
Я хочу, чтоб мыслящее тело

Превратилось в улицу, в страну -
Позвоночное, обугленное тело.
Осознавшее свою длину.

Его стихи остались, я их слышу, слышат их другие; мы идем по улице, на которой играют дети. Вероятно, это и есть то, что в торжественные минуты мы именуем «бессмертием».

А в моей памяти живой Осин Эмильевич, милый беспокойный хлопотун. Мы трижды обнялись, когда он прибежал, чтобы проститься: наконец-то он уезжает из Коктебеля! Про себя я подумал:

Кто может знать при слове - расставанье,-
Какая нам разлука предстоит...

В соляных озерах северной части Крыма добывается поваренная соль; добывалась она и до революции. Наверно, я об этом узнал в третьем или четвертом классе гимназии, но школьные познания быстро забываются. Притом я никогда не интересовался происхождением соли, которая стояла на столе. И вот соль, притом крымская, сыграла важную роль в моей жизни.

Путь из Феодосии в Москву лежал тогда через меньшевистскую Грузию, которая торговала с белым Крымом и где было советское посольство. Из Феодосии в Грузию отправлялся ценный товар - поваренная соль. Я говорю о его ценности отнюдь не шутя: в то время соль продавалась на рынках стаканами, как потом сахар.

Один предприимчивый феодосиец решил доставить в Потти соль; ею нагрузили большую дряхлую баржу. На буксире должен был отправиться владелец соли. После длительных и сложных переговоров, в которых мои покровители говорили и о поэзии и о рублях, капитан буксира и владелец соли согласились взять на баржу меня, Любу и Ядвига. Белые, разумеется, осматривали уходящие суда, и мы должны были прибыть на баржу накануне, а до того, как выйдем в открытое море, сидеть тихо в душном, трюме, где лежала драгоценная соль. Это не было самым приятным местом, но нам дали хлеб и помидоры, а соли было сколько угодно, и мы не роптали.

Пришлось пережить несколько неприятных минут: над нами прогрохотали сапоги офицеров, проверявших, нет ли на барже пассажиров. Я вспомнил строчку Волошина: «Застыть, как соль», - и, кажется, застыл. Шаги стали приглушенными, как уходящая гроза.

Буксир взял курс на юг, будто мы шли к берегам Турции. Объяснялось это тем, что в Новороссийске была Советская власть, и владелец соли боялся, как бы большевики не захватили его товара. А баржа была предназначена только для небольших рейсов вдоль берега; притом, как я сказал, у нее был возраст, мало подходящий для авантюры. Был конец сентября, то есть время, когда на Черном море часто бывают штормы. Мы проплыли несколько часов среди идиллии: сияло солнце, белели барашки волн, и баржу лениво покачивало. Мы

радовались, что вырвались из Крыма, и ели хлеб с солью. Шторм начался внезапно; мы не поняли, что происходит, когда высокая волна переплеснула палубу. Мы легли в самом защищенном месте и покрылись брезентом. Шторм крепчал; навалилась быстрая южная ночь.

На барже было три или четыре матроса. Они нам сказали, что дела плохи: мы находимся далеко от берега, вода попала в трюм и груз теперь чересчур тяжелый. Они ругали капитана буксира, владельца соли, белых, красных, грузин и вообще все на свете.

Мы пробовали уснуть, но это было невозможно - несмотря на брезент, нас заливало; хотя баржа, по словам матросов, была перегружена, ее швыряло, как крохотную лодку. А волны росли. Я старался припомнить различные смешные истории, и мы не унывали.

Самое неприятное было, однако, впереди. Капитан буксира решил бросить баржу: боялся, что она может разбить буксир. Нам это прокричали в рупор и предложили по канату добираться до буксира. Мы были, однако, не спортсменами, а людьми, сильно отощавшими от супа на перце (Люба незадолго до путешествия перенесла сыпняка); перейти на буксир среди сильных волн мы, разумеется, не могли и решили остаться - будь что будет.

Я не раз в жизни замечал, что страх - капризное чувство, зачастую не связанное с рассудком. Мой друг, писатель О. Г. Савич, в Испании совершенно спокойно беседовал о поэзии под нестерпимыми бомбежками, но я помню, что когда мы с ним ехали из Бельгии во Францию, он смертельно боялся таможенного осмотра, хотя не вез никакой контрабанды. Я был в Толедо с испанским художником Фернандо Херасси; он был тогда офицером и не раз удивлял товарищей храбростью. В толедском Алькасаре сидели фашисты и время от времени лениво, для приличия, постреливали в анархистов. Фернандо мне признался, что не хочет лезть со мной на крышу дома - боится: фронт - это фронт, а в Толедо он поехал со мной за компанию, и здесь ему страшно. Что касается меня, то я испытывал страх не на фронтах, не в Испании, не при бомбежках, а в мирной обстановке, когда ждал звонка или стука и дверь, но об этом я уже писал. Ни я, ни мои молоденькие попутчицы не испугались мысли, что мы останемся в разъяренном море на дырявой барже и пойдем ко дну вместе с

драгоценной солью. Мы разговаривали, шутили, и если дрожали, то не от страха, а от холода: промокли насквозь.

Капитан все же не бросил баржу. Когда мы благополучно причалили к Сухуми, он сказал Любе, что пожалел ее. По-моему, это было восточным комплиментом. На буксире находился владелец соли, и он отстоял свой товар.

Сухуми нам показался невыразимо прекрасным; это действительно красивый город, но дело было не только в его живописности - в то яркое, солнечное утро мы восхищались возвращенной жизнью. Нам казалось, что все трудности не только путешествия в Москву, но и жизненного пути позади. Какой-то грузин предложил нам обменять деньги, и вот мы если в кафе прямо на улице, пили турецкий кофе, кейфовали. Крикливые усатые люди улыбались нам. Продавали золотистый теплый виноград. Было жарко, как летом, и мы не думали ни о цене соли, ни о цене человеческой жизни. Мы развлекались - нам троим вместе было меньше лет, чем теперь мне одному.

Потом мы снова спали на барже, по это была обыкновенная, спокойная ночь: вдоль берега мы шли на Поти. Оттуда поездом добрались до Тбилиси. Куда идти? Где посольство? И где Москва? Мы несколько растерялись в чужом городе, без документов, без денег.

Бывают все-таки в жизни те счастливые случайности, на которые иногда ссылаются писатели, приклеивая к безвыходной истории благополучнейшую развязку. Навстречу нам по Головинскому проспекту шел Осип Эмильевич Мандельштам. Мы обрадовались ему, он - нам. Он уже чувствовал под ногами почву и деловито сказал: «Сейчас мы пойдем к Тициану Табидзе, и он нас поведет в замечательный духан...»

Мандельштам рассказал нам о своих злоключениях. В Батуми опасались эпидемии чумы, и квартал, в котором нашли комнату Осип Эмильевич и его брат, был оцеплен. Мандельштам гадал, от чего он умрет: от романтической чумы или от вульгарного голода. Его размышления были прерваны меньшевистскими охранниками, которые отвели Осипа Эмильевича в тюрьму. Напрасно он пытался еще раз объяснить, что не создан для тюремного образа жизни,- это не произвело никакого впечатления. Он говорил, что он - Осип Мандельштам, автор книги «Камень», а ему отвечали, что он агент генерала Врангеля и большевиков. Достаточно было взглянуть на Осипа Эмильевича, чтобы понять, насколько он мало походил на агента - не только двойного, но и обыкновенного. Однако у охранников не было времени для размышлений: они выполняли, а может быть, перевыполняли план. (Автор даже самого вздорного приключенческого романа и тот заботится о некоторой правдоподобности, а полицейские не ломают себе головы - предпочитают проламывать чужие головы.) Случайно в Батуми приехали грузинские поэты и прочитали в газете, что «двойной агент Осип Мандельштам» выдает себя за поэта. Они добились освобождения Осипа Эмильевича.

Рассказав все это, Мандельштам не стал философствовать над особенностями эпохи, а повел нас к Тициану Табидзе, который восторженно вскрикивал, обнимал всех, читал стихи, а потом побежал за своим другом Паоло Яшвили. Мы обомлели, увидав на столе духана различные яства, о существовании которых успели давно позабыть.

С Паоло Яшвили я познакомился в Париже, в «Ротонде»; было это и 1914 году. Паоло тогда был худым и порывистым юношей (ему было двадцать лет). Он расспрашивал меня: «А в каком кафе сидел Верлен? Когда сюда придет Пикассо? Правда, что вы пишите в кафе? Я не мог бы... Посмотрите, как они целуются! Возмутительно! Меня это чересчур вдохновляет...» Увидев Паоло в Тбилиси, и ему обрадовался, как однополчанину, хотя наша встреча в Париже была случайной и беглой.

Не успели мы сесть за стол, как Паоло и Тициан объяснили нам, что они основатели поэтического ордена «Голубые рога». Я подумал, что это не имеет никакого отношения к обеду: есть ведь журнал «Голубой всадник», выставки «Голубой розы». Но духанщик притащил огромные рога (правда, не голубые). В рог, который Паоло поднес, мне, он налил кварту вина. Рог не стакан, на стол его не поставишь, я подержал его несколько минут, а потом в отчаянии выпил вино залпом. Если вспомнить, что в Коктебеле я сильно отощал, то легко догадаться, чем это для меня кончилось. Грузинские друзья зачем-то поволокли меня на концерт знаменитого виртуоза. Смутно помню, как я валялся в одной из комнат консерватории среди арф и лент от венков.

На следующее утро я пошел с Мандельштамом в советское посольство. Нас ласково приняли, обещали переправить в Россию; придется, однако, подождать неделю-другую.

Паоло устроил нас в старой, замызганной гостинице. Свободных комнат в городе не было, и нам пришлось поместиться в одном номере: братья Мандельштамы, Люба, Ядвига и я. Осип Эмильевич от кровати отказался боялся клопов и микробов; спал он на высоком столе. Когда рассветало, я видел над собой его профиль: спал он на спине, и спал торжественно.

Мы прожили в Тбилиси две недели; они показались мне лирическим отступлением.

Каждый день мы обедали, более того, каждый вечер ужинали. У Паоло и Тициана денег не было, но они нас принимали с роскошью средневековых князей, выбирали самые знаменитые духаны, потчевали изысканными блюдами. Порой мы шли из одного духана в другой - обед переходил в ужин. Названия грузинских яств звучали, как строки стихов: сулгуни, сопхали, сациви, лоби. Мы ели форель, наперченные супы, горячий сыр, соусы ореховый и барбарисовый, куриные печенки и свиные пупки на вертеле, не говоря уже о разноликих шашлыках. В персидских харчевнях нам подавали плов и баранину, запеченную в горшочках. Мы проверяли, какое вино лучше - телиани или кварели.

Никогда дотоле я не бывал на Востоке, и старый Тбилиси мне показался городом из «Тысячи и одной ночи». Мы бродили по нескончаемому Майдану; там продавали бирюзу в смоле и горячие

лепешки, английские пиджаки и кинжалы, кальяны и граммофоны, пахучие трапы и винтовки, портреты царицы Тамары и доллары, древние рукописи и подштанники. Торговцы зазывали, торговались, расточали цветистые комплименты, клялись жизнью многочисленных домочадцев.

Мы побывали в серных банях; на меня взобрался огромный банщик облепил меня чудодейственной грязью, которая уничтожала растительность; Паоло пресерьезно уверял, что я похож на Нарцисса.

Мы попивали вино в Верийских садах; внизу нетерпеливая Кура играла с красными и желтыми огоньками, а на столе благоухали тархун и киндза.

В древних храмах мы плядели на каменных цариц, к которым ласкались барсы. Мы восхищались в духанах картинами Пиросманишвили, грузинского Руссо, художника-самоучки, который за шашлыки и вино расписывал стены погребков. Он был прост, патетичен, поражал умелой композицией и полнотой цвета.

Тбилиси был случайным полустанком, на котором остановился поезд времени. Глава меньшевистского правительства Ной Жордания, в прошлом сотрудник различных марксистских журналов, ссылался то на Каутского, то на царицу Тамару. Каутский писал, что меньшевистская Грузия - государство с будущим, а петербуржцы и москвичи, застрявшие на полустанке, торопливо упаковывали чемоданы; одни спешили на север, другие за границу. Некоторых из них я встретил. Артист Н. Н. Ходотов собирался домой, в Петроград. Поэты Агнивцев и Рафалович ждали французских виз. Жители Тбилиси ругали меньшевиков, говорили, что их песенка спета.

Различные века сосуществовали в этом удивительном городе. Я увидел праздник мусульман-шиитов - «шахсей-вахсей». На носилках, изукрашенных цветистыми коврами, несли безликих персиянок. Вокруг сновали молодые люди; костюмированные всадники нещадно хлестали их кнутами. За ними следовали сотни полуголых мужчин, ударявших себя в спину железными цепями. Гремела музыка. Главными актерами были люди в белых халатах; раскачиваясь, они выкрикивали «шахсей-вахсей!» и били себя саблями по лицу. На ярком солнце кровь казалась краской. Самоистязание было поминками по сыну халифа Хусейну, который погиб в битве тысячу четыреста лет назад...

А на соседней улице мастеровые читали листовку: «Красное знамя Советской власти реет над Баку. Не сегодня завтра оно взвьется над Тифлисом...»

Мне подарили «Сборник тифлисского цеха поэтов». Эта книжка случайно у меня сохранилась. Среди авторов много поэтесс с поэтичными фамилиями: Нина Грацианская, Бел-Конь-Любомирская, Магдалина де-Капрелевич. Поэты «тифлисского цеха» писали сонеты о Свароге, Эросе, Суламите, Санаваллате, Монфоре и о других, столь же близких персонажах.

Впрочем, я не заглянул тогда в сборник: все время я был с новыми друзьями, которых сразу полюбил,- с Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе.

Они были связаны между собой не только общими поэтическими воззрениями, но и крепкой дружбой; эта дружба оказалась долговечней литературных школ; и погибли они вместе. А до чего они не походили один на другого! Паоло был высоким, страстным, чрезвычайно энергичным, умел все организовать - и декларацию «Голубых рогов», и обед в духане. Стихи у него были живые, умные, крепкие. А Тициан поражал мягкостью, мечтательностью. Он был красив, всегда носил в петлице красную гвоздику; стихи читал нараспев, и глаза у него были синие, как горные озера. Трудно понять поэзию в переводах. Я слушал стихи и по-грузински. Тициан, помню, сказал мне, что поэзия обвал. Много лет спустя я прочитал в переводе его стихотворение, где были строки:

Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут
Меня. И жизни ход сопровождает их.

Что стих? Обвал снегов. Дохнет - и с места слышит,
И заживо схоронит. Вот что стих.

Кажется, в этих словах раскрытие Тициана, его чистоты, приподнятости; был он прежде всего поэтом.

Яшвили и Табидзе прекрасно знали, любили русскую и французскую поэзию, Пушкина и Бодлера, Блока и Вердена, Некрасова и Рембо, Маяковского и Аполлинера. Они сломали старые формы грузинской версификации. Но трудно, кажется, найти поэтов, которые так бы любили свою родину, как они. Их можно было глубоко порадовать, сказав, что то или иное грузинское слово выразительно, заметив горный цветок или улыбку девочки на проспекте Руставели.

О том, что они были прекрасными поэтами, можно теперь прочитать в любом справочнике. Мне хочется добавить, что они были настоящими людьми. Я приехал снова в Тбилиси в 1926 году, приехал к Тициану и Паоло. Потом я встречался с ними в Москве: дружба выдержала испытание временем.

В конце 1937 года я приехал из Испании, прямо из-под Телуэля, в Тбилиси на юбилей Руставели. Паоло и Тициана не было. О том, что с ними случилось, скажу словами Гурама Асатиани, автора книги о Тициане Табидзе: «Табидзе, как и его замечательные сверстники, известные советские писатели П. Яшвили, М. Джавахишвили, Н. Мицишвили и другие, стали жертвами преступной руки заядлых врагов народа». Тициана арестовали, а Паоло, когда за ним пришли, застрелился из охотничьего ружья. В Тбилиси я нашел только одного поэта - голуборожца Г. Леонидзе, с которым познакомился в 1926 году. Он позвал меня к себе под Новый год. Вдруг тосты оборвались: мы подняли стаканы и ничего не сказали - перед нами были Тициан и Паоло... Я часто думаю о стихах Яшвили, написанных за несколько лет до трагической развязки:

Не бойся сплетен. Хуже - тишина,
Когда, украдкой пробираясь с улиц,
Она страшит, как близкая война
И близость про меня сужденной пули.

Тициана и Паоло любили многие русские поэты - и Есенин, и Пастернак, и Тихонов, и Заболоцкий, и Антокольский. А мы были первыми советскими поэтами, которые нашли в Тбилиси не только душевный отдых, но романтику, ощущение высоты, толику кислорода - я говорю и о горах и о людях, нельзя ведь отделить Паоло и Тициана от окружавшего их пейзажа. Я писал после поездки в Грузию в 1926 году: «Условимся: горы не только астма альпиниста, не только семейные охи любителей каникулярной красоты. Это еще некоторое беспокойство природы, ее требовательность, которая глубоко соответствует человеческому естеству... Звери и лозы Ананурского монастыря резвятся, зреют, живут. На них любовно смотрят пастухи и звезды. В Верийских садах зурна плачет, как любимая женщина, голос которой нельзя не узнать и через тысячу лет. Пусть поэты «Голубых рогов» любят Рембо и Лотреамона; неискушенные души повторяют их стихи доверчивым девушкам возле могилы Грибоедова, когда в

одно сливаются созвездия астрономов, огни Сололак и взволнованные зрачки. А на стенах духанов истекают кровью арбузы, написанные Нико Пиросманишвили...»

Альпы во Франции - спорт, туризм, санатории, лыжи, гостиницы, рюкзаки, открытки. А без Кавказа трудно себе представить русскую поэзию: там она отходила душой, там была ее стартовая площадка. Но я сейчас пишу всего-навсего о двух коротких неделях осени 1920 года, когда грузинские друзья приютили, пригрели нас. Друзей этих уже нет, остается поклониться горам Грузии. Яшвили и Табидзе проводили нас по Военно-Грузинской дороге до первого привала, и сейчас еще в моих ушах звучит высокий, пронзительный голос Тициана:

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою...

Я уже говорил, что у меня в жизни было немало разнообразных и неожиданных профессий; теперь мне предстоит рассказать о самой неправдоподобной; она была кратковременной, но бурной - посол сказал мне, что я поеду из Тбилиси в Москву как дипломатический курьер. Это не было ни почетной синекурой, ни маскировкой, чтобы пересечь границу, нет, я должен был отвезти пакет с почтой и три огромных тюка, снабженных множеством печатей.

Мне часто приходилось и приходится ездить за границу; если со мной едут другие товарищи, среди них обязательно имеется «руководитель делегации». А вот из Тбилиси я отправился с семью лицами; одни из них в документе именовались «сопровождающими» (Люба, Ядвига, братья Мандельштамы и весьма серьезный товарищ, возвращавшийся, кажется, из Англии); другие числились моей «охраной» - краснофлотец и молоденький актер Художественного театра. Таким образом, на новом поприще я сразу сделал карьеру.

Теперь я часто встречаю в самолетах дипкурьеров; это спокойные, солидные люди, привыкшие к своей работе; в далекий путь они отправляются вдвоем - когда один спит, другой присматривает за почтой. Поглядывая на них, я вспоминаю далекое прошлое: небось не догадываются, что я тоже вез такие мешки, только не в самолете, где проводницы угощают пассажиров конфетами, а в разбитом вагоне, прицепленном к бронепаровозу...

Осенью 1920 года советские дипломаты были новичками. Дипломатические отношения тогда поддерживались только с Афганистаном, с новоиспеченными государствами Прибалтики да с меньшевистской Грузией. Все было внове и не проверено. Большевики хорошо помнили жаркие дискуссии с меньшевиками на нелегальных собраниях; иногда приходила полиция и забирала всех. Теперь картина была иной: меньшевистский публицист А. Костров, он же Ной Жордания, стал главой грузинского правительства, и его полиция начала сажать недавних оппонентов в Метехскую тюрьму. Конечно, дипкурьер пользуется неприкосновенностью, никто не вправе посягнуть на груз, который он везет. Посол об этом хорошо знал, но он

не знал, знают ли об этом меньшевики, и мне строго наказал, чтобы на границе я ни в коем случае не позволил вскрыть пакет, завернутый в коричневую оберточную бумагу и запечатанный десятком сургучных печатей. Я держал этот пакет в руках и не расставался с ним восемь дней, пока не сдал его в Москве в Наркоминдел.

Сначала дорога была идиллической. Мы ужинали в духане и заночевали в пути; все мои попутчики, как «сопровождающие» так и «охрана», спокойно спали, а я бодрствовал, прижимая к себе заветный пакет. Утром мы поехали дальше; сверкали снега, внизу шумели горные реки, паслись отары овец.

Мы приближались к границе, и я стал обдумывать, что мне делать, если грузинские пограничники вздумают вскрыть пакет. У краснофлотца был наган, но, когда я с ним заговорил о предстоящей угрозе, он равнодушно ответил, что пакет везу я, а он везет фрукты. Товарищ, приехавший из Англии, был гладко выбрит, пах лавандой и беспечно глядел в бинокль на вечные снега. Осип Эмильевич читал стихи нашим попутчицам.

Грузинский офицер, командир пограничного отряда, оказался милейшим человеком. Узнав, что моя жена - художница, он начал ее расспрашивать, что делают теперь русские живописцы. Он хочет перебраться в Москву и поступить во Вхутемас. Может быть, Люба за него походатайствует?..

Мы долго перетаскивали тюки через «нейтральную полосу». Советские пограничники были заняты: поймали трех контрабандистов. Нам обещали машины к вечеру. Я запротестовал: «Почта срочная, нельзя терять ни часа...» (Именно так сказал мне посол.)

Ночью мы въехали во Владикавказ; нас отвезли в гостиницу, где полгода назад помещались деникинцы; все было загажено, поломано; стекол в окнах не было, и нас обдувал холодный ветер. Город напоминал фронт. Обыватели шли на службу озабоченные, настороженные; они не понимали, что гражданская война идет к концу, и по привычке гадали, кто завтра ворвется в город.

Я начал обсуждать с представителями горсовета и военным командованием, как нам добраться до Минеральных Вод: поезда не ходили, по дороге шли стычки с небольшими отрядами белых. Мы съели борщ в столовой, где обедали руководящие товарищи; нам даже

выдали три буханки хлеба. Под вечер было решено отправить до Минеральных Вод бронепоезд. Однако бронепоезда не оказалось, и к бронепаровозу прицепили два обыкновенных вагона. Охрана на этот раз была посерьезнее: красноармейцы с пулеметами.

В вагоне я увидел нового пассажира, который, улыбаясь, говорил всем, что он грузинский дипломат. Один из чекистов объяснил мне, что в чемодане дипломата нашли около тысячи брошек, браслетов и колец с бриллиантами и ценными камнями. Москва приказала доставить задержанного в Наркоминдел. Обращались с грузином учтиво, как с настоящим дипломатом, и я себя почувствовал дилетантом, но не спускал глаз с тюков.

Когда мы отъехали сорок или пятьдесят километров, поезд остановился. Мы слышали выстрелы. Зататорил пулемет. Военные сказали, что белые разобрали путь и собираются напасть на поезд; мы должны взять винтовки и стрелять. Все это вывело из себя Осина Эмильевича, который чувствовал к любому виду оружия непреодолимое отвращение. В его голове созрел фантастический план: он с Любой уйдет в горы... Люба не поддавалась его увещаниям, а белых скоро отогнали.

На станции Минеральные Воды люди неделями ждали посадки. Красноармейцы помогли мне пробиться к вагону; кто-то кричал: «Дипломатический курьер!», но это не действовало. Можно было с таким же успехом кричать «римский пана» или «Шалапин»... Не помню, как мы все же очутились в набитом до отказа вагоне. Здесь-то начались мои главные мучения: тюки занимали очень много места, и на них все норовили сесть; я понимал, что от сургучных печатей ничего не останется, и неистово кричал; «Прочь от диппочты!..» Действовали не столько слова, сколько мой голос, преисполненный отчаяния.

Вначале краснофлотец помогал мне отбивать атаки; но вскоре случилось несчастье: на какой-то станции он купил два большущих мешка соли. Проклятая соль снова вмешивалась в мою жизнь. Краснофлотец теперь оберегал не диппочту, а соль и цинично отгонял всех от мешков: «Это диппочта». Я выглядел самозванцем.

На четвертый или на пятый день нас ожидали новые неприятности: где-то между Ростовом и Харьковом к поезду подошли махновцы. Я знал по опыту, что это значит. Но теперь у меня почта,

заветный пакет... Что мне делать? Товарищ, возвращавшийся из Англии, вез и термосе горячий чай, а в дорожной фляжке коньяк; он мне говорил: «Выпейте, и все обойдется...»

Все действительно обошлось. Мы доехали до Москвы. Я прижимал пакет к груди, как младенца. Пассажиры постепенно разошлись, а я стоял над тюками. Под вечер Александру Эмильевичу и краснофлотцу удалось нанять телегу, на которую мы положили багаж (пакет с почтой я нес в руке). Мы шли вслед за телегой; больше всего это напоминало деревенские похороны.

Осип Эмильевич уже успел с кем-то поговорить по телефону, нашел ночевку для себя и брата и объявил нам, что вечером мы должны прийти в Дом печати на Никитском бульваре - там дают бутерброды.

Наркоминдел помешался в здании «Метрополя», вход был позади, с небольшой площади. Дежурный принял у меня почту. К маленькому пакету он отнесся уважительно, и я снова вырос в своих глазах; но тюки пренебрежительно оттащил в кладовку. Я ему пытался объяснить, что противная бабенка, несмотря на всю мою бдительность, повредила одну из многочисленных печатей, но он равнодушно сказал: «А там только газеты...»

Случилось чудо: это ведь были первые годы революции, романтика... Узнав, что мне некуда деться, дежурный пожалел меня, объявил кому-то по телефону, что приехал дипкуррьер из Тбилиси, и начал обзванивать различные общежития. Я получил бумажку о том, что в Третьем общежитии Наркоминдела должны приютить Эренбурга с женой. Третье общежитие оказалось бывшими меблированными комнатами «Княжий двор», где я когда-то жил с отцом. Там было тепло, и я понял, что я в раю...

Вечером мы пошли в Дом печати; я увидел многих знакомых. В буфете действительно давали крохотные ломтики черного хлеба с красной икрой и воблой; кроме того, там можно было получить чай, который благоухал не то яблоками, не то мятой, разумеется, без сахара. Все это было восхитительным, и я сразу погрузился в литературный спор, кто больше соответствует действительности - футуристы или имажинисты.

Несколько огорчил нас инцидент с Мандельштамом. Он сидел в другом углу комнаты. Вдруг вскочил Блюмкин и завопил: «Я тебя

сейчас застрелю!» Он направил револьвер на Мандельштама. Осип Эмильевич вскрикнул. Револьвер удалось вышибить из руки Блюмкина, и все кончилось благополучно.

Мы шли по Арбатской площади, мимо церквушки Бориса и Глеба. Было очень темно, но в окнах копошились слабые огоньки. Вот и Москва, город, на который смотрит весь мир! Здесь нет хлеба, нет угля, людям трудно, но они упрямы, и войну они уже выиграли, пробили путь в историю...

Так я думал по дороге в Третье общежитие. Мне хотелось что-то делать, писать, а главное - ломать прежнее, ломать с душой: теперь я знал, чем оно пахнет.

Коменданта Третьего общежития Наркоминдела звали товарищем Адамом; но, если говорить откровенно, Адамом чувствовал себя я: я оказался в раю, откуда меня легко могли выгнать. Мне нужно было представить удостоверение с места службы, и хотя я довел в сохранности почту, о дипломатической карьере мечтать не приходилось. Товарищ Адам поселил нас в комнате, которая не отапливалась, и все же «Княжий двор» был раем. Утром нам выдавали паек: двести граммов хлеба, крохотный кусок масла и два куска сахара. Днем мы получали кашу - пшеничную или ячневую. Конечно, древние князья ели лучше, но в Москве 1920 года такой паек был воистину княжеским.

Я встретил старых друзей, познакомился с молодыми поэтами, написал несколько стихотворений. Люба разыскала А. А. Экстер и поступила во Вхутемас. Неожиданно мне сообщили, что В. Э. Мейерхольд хочет со мною поговорить и предоставить мне интересную работу. Я не знал, о какой работе идет речь, но чувствовал себя окрыленным.

В Доме печати решили устроить вечер моих стихов. Я прочитал стихотворения, написанные в Коктебеле и в Москве. Одет я был непристойно, но на это тогда не обращали внимания, а стихи были патетическими. Я, например, обращался к человеку будущего, который случайно найдет в библиотеке мою книгу:

Средь мишуры былой и слов убогих.
Средь летописи давних смут,
Увидит человека, умирающего на пороге,
С лицом, повернутым к нему.

Когда я кончил читать, все стремительно ринулись в буфет. Там ко мне подошел дежурный член правления поэт Венгров и шепнул, что меня требуют представители Чека; они внизу, у вешалки. «Вы не волнуйтесь,- дружески добавил он,- это явная ошибка».

У вешалки меня ждали два молодых человека; они мне показали ордер. Мы пришли к площади; там стояла машина, которая отвезла меня на Лубянку, в дом, принадлежавший ранее «Страховому

обществу «Россия», где помещалась Чека: этот дом вошел и историю. Мало кто помнит, что улика Кирова называлась Мясницкой, Кропоткинская - Пречистенкой, улица Горького - Тверской, а слово «Лубянка» осталось.

Меня обыскали, нашли фотографию Любы и снимки ее живописных работ. Молодые люди стали меня расспрашивать, что означает кубизм. Но моя голова была занята другим: что означает мой арест? Лекции о живописи не получилось. Молодые люди сказали, что предупредят мою жену (действительно, они поехали к ней, успокаивали - «наверно, его скоро выпустят» - и просили объяснить им современную живопись).

Меня отвели в камеру, где уже помещалось человек восемь,- это были командиры военно-морского флота, люди мужественные и симпатичные; они потеснились, и я лег спать. На следующее утро мне объяснили, что в камере не принято говорить о приключившейся с людьми неприятности. Каждый рассказывает о том, в чем он специалист. Первым был доклад о подводной лодке, сконструированной Налетовым, второй о плавании по Индийскому океану. В свою очередь, я рассказал о Париже, о стихах Франсуа Вийона, об итальянской живописи. (Несколько месяцев спустя я встретил моих товарищей по кратковременному заключению в Камерном театре, на премьере «Принцессы Брамбиллы». Мы обрадовались друг другу и сразу перешли к вопросу о том, чей театр лучше - Таирова или Мейерхольда.)

Вечером меня повели по длинным и сложным коридорам на допрос. Следователь дружески со мной поздоровался, сказал, что встречал меня в «Ротонде». Я его не помнил, но мы поговорили о Париже; потом он сказал: «Видите ли, к нам поступило сообщение, что вы агент Врангеля. Докажите обратное». Моя беда в том, что я всю жизнь не могу освободиться от некоторых доводов Декарта; знаю, что логикой не проживешь, и все же всякий раз ловлю себя на том, что требую от других именно логики. Я ответил, что автор доноса должен доказать, что я агент Врангеля; если мне сообщат, на чем основано его утверждение, я смогу его опровергнуть. Следователь попросил рассказать, как я добрался до Москвы, посочувствовал нашим дорожным невздам, крепко обругал хозяина соли и наконец сказал: «Мы с вами еще поговорим...» Я сделал товарищам по камере доклад

об испанской поэзии и услышал лекцию о влиянии развития авиации на действия военно-морского флота. Два дня спустя следователь снова вызвал меня. «Скажите, почему вам поручили доставить в Москву дин почту?» Я ответил, что этот вопрос следует поставить нашему послу в Тифлисе; что касается меня, я просто просил посольство отправить меня в Москву. Мы снова вспомнили Париж, и меня отвели в камеру. Я прочитал доклад об архитектуре Версаля и познакомился с анализом подводной войны в 1917 - 1918 годах. Третий допрос начался знакомыми словами: «Докажите, что вы не агент Врангеля...» Следователь был в дурном настроении, он сказал, что я упрям и это может меня погубить, контрреволюция не хочет разоружиться, а пролетариат не повторит ошибок Коммуны.

Я решил, что меня, наверно, расстреляют; но утром выступил с докладом о живописи Пикассо и настолько увлекся, что даже позабыл о грозных намеках следователя.

Прошел еще день, и неожиданно меня освободили.

Это было замечательное время! Еще шли бои с врангелевцами, еще не унимались различные банды, еще постреливали террористы. Борьба шла где-то под землей, в темных сапах. Иногда арестованных расстреливали, а тех, кого не расстреливали, освобождали.

Выпустили меня вечером. Я пошел в «Княжий двор», но меня туда не впустили: товарищ Адам, который был всемогущ, как господь бог, выгнал из рая Еву, то есть Любу. Я не знал, где она; не знал, куда мне пойти. На улице было очень холодно, и вдруг я с тоской подумал о тесной камере: там, по крайней мере, была тепло...

Я отправился в Дом печати. Было поздно, и застал я только дежурного распорядителя. Он долго объяснял мне, что ночевать в помещении никто не имеет права; но, поглядев на меня, дрогнул духом. «Ладно! Идем наверх...» Наверху находились комнаты различных литературных группировок. Он меня устроил в комнате пролетарских писателей, где стоял большой диван. К сожалению, верхний этаж не отапливался. Мое парижское пальто, пережившее три бурных года, походило на трухлявую шинель Акакия Акакиевича. Я лежал и чувствовал, что замерзаю. В темноте я сорвал со стены полотнище и закутался; теплее не стало, но, к счастью, я заснул.

Проснулся я от громкого смеха: надо мной стояли пролетарские писатели, среди них мой парижский приятель Миша Герасимов.

Стоят и смеются... Оказалось, я завернулся в материю с лозунгом и на мне значит: «Вся культура пролетариату!» Я сам рассмеялся.

Я прочитал написанное мною и задумался: почему в этой части моей книги столько веселых, почти легкомысленных страниц? Ведь события, о которых я рассказываю, отнюдь не были идиллическими: баржа с солью могла легко затонуть; бандитам ничего не стоило прикончить наивного дипкурьера; да и мои беседы со следователем могли кончиться совсем иначе. Все это так; но человек может сохранять душевное веселье в часы самых трудных испытаний, как он может тосковать, даже отчаиваться, когда ничто лично ему не угрожает. Я писал с нежностью, но и с горечью о моей ранней молодости. Да и предстоит мне в последующих частях моей книги рассказать о многом, что никак не назовешь веселым. Не опасность пригнетает человека, а внутренние обиды, разуверения, ощущение собственного бессилия.

Гашек и Кафка родились оба в Праге в 1883 году; но говорили они несхожими голосами, и в роман Кафки не вставишь размышлений бравого Швейка: диссонанс будет ужасающим. А жизнь не писатель, она не заботится о единстве стиля; одну главу она пишет с улыбкой, в другой выворачивает душу героя.

Вернусь к моему рассказу. Герасимов раздобыл кусок хлеба, чай, и мы позавтракали. В коридорах Дома печати молодые поэты уже спорили о судьбах искусства, а я отправился разыскивать Любу.

Мальчишкой я несколько раз видел В. Э. Мейерхольда на сцене «Художественного Общедоступного театра»; помню его сумасшедшим стариком в роли Иоанна Грозного и взволнованным, негодующим юношей в «Чайке».

Сидя в «Ротонде», я не раз вспоминал слова чеховского героя: «Когда поднимается занавес и при вечернем освещении, в комнате с тремя стенами, эти великие таланты, жрецы святого искусства, изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки; когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль - мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе; когда в тысяче вариаций мне подносят все одно и то же, одно и то же, одно и то же,- то я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью... Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно». (Чехов написал «Чайку» в 1896 году, Мопассан умер в 1893 году, Эйфелева башня была построена в 1889 году. В 1913 году мы принимали эту башню и отвергали Мопассана; но слова о «новых формах» мне казались живыми и близкими.)

Я пропустил возможность познакомиться с Мейерхольдом в 1913 году, он приезжал в Париж по приглашению Иды Рубинштейн, чтобы вместе с Фокиным поставить «Пизанеллу» Д'Аннунцио. Я тогда мало знал о постановках Мейерхольда; зато знал, что Д'Аннунцио - фразер и что Ида Рубинштейн - богатая дама, которая жаждет театральных успехов; в 1911 году я видел «Святого Себастьяна», пьесу того же Д'Аннунцио, написанную для той же Иды Рубинштейн, и был раздосадован помесью декадентской красоты с парфюмерным сладострастием. (В. Э. Мейерхольд подружился в Париже с Гийомом Аполлинером, который, видимо, сразу понял, что дело не в Д'Аннунцио, не в Иде Рубинштейн, не в декорациях Бакста, а в душевном смятении молодого петербургского режиссера.)

Осенью 1920 года, когда я познакомился с Мейерхольдом, ему было сорок шесть лет: он был уже седым; черты лица успели

заостриться, выступали мохнатые брови и чрезвычайно длинный горбатый нос, похожий на птичий клюв.

ТЕО (театральный отдел Наркомпроса) помещался в особняке напротив Александровского сада. Мейерхольд носился по большой комнате, может быть потому, что ему было холодно, может быть потому, что не умел сидеть в начальническом кресле у традиционного стола с цапками «на подпись». Он, казалось, клокотал; говорил, что ему понравились мои «Стихи о канунах»; потом вдруг подбежал ко мне и, закинув назад свою голову не то цапли, не то кондора, сказал: «Ваше место - здесь. Октябрь в искусстве! Вы будете руководить всеми детскими театрами Республики...» Я попытался возразить: я не педагог, хватит с меня мофективных киевлян и коктебельской площадки; да я и не смыслю ничего в сценическом искусстве. Всеволод Эмильевич меня оборвал: «Вы - поэт, а детям нужна поэзия. Поэзия и революция!.. К черту сценическое искусство!.. Мы с вами еще поговорим... А приказ о вашем зачислении я подписал. Приходите завтра вовремя...»

Мейерхольд тогда был одержим (как Маяковский) иконоборчеством. Он не заведовал отделом,- он воевал с той эстетикой и удобопонятной моралью, о которой говорил герой «Чайки».

Недавно я выступал в Женеве в студии телевидения. Молоденькая девушка преградила мне дорогу и сказала, что должна меня загримировать. Я запротестовал: мне предстоит говорить о голоде в экономически отсталых странах, при чем тут красота, да и не пристало мне на старости лет впервые румяниться. Девушка ответила, что таковы правила, все должны подвергнуться операции; она наложила на мое лицо тонкий слой желтоватого крема. Я сейчас подумал, что свет памяти столь же резок, как и свет телевизионных студий, и что, говоря в этой книге о некоторых людях, я невольно кладу слой краски, смягчающей слишком острые черты. А вот со Всеволодом Эмильевичем мне не хочется этого делать; я попытаюсь дать его не с притушенными, но с жесткими деталями.

Характер у него был трудный: доброта сочеталась с запальчивостью, сложность духовного мира - с фанатизмом. Как некоторые большие люди, с которыми мне привелось столкнуться в

жизни, он страдал болезненной подозрительностью, ревновал без оснований, видел часто козни там, где их не было.

Первая наша размолвка была бурной, но кратковременной. Один военмор принес мне пьесу для детей; все персонажи были рыбами (меньшевики - карасями), и в последнем акте торжествовал «рыбий совнарком». Пьеса мне показалась неудачной, я ее забраковал. Вдруг меня вызывает Мейерхольд. На столе у него рукопись. Он раздраженно спрашивает, почему я отклонил пьесу, и, не дослушав, начинает кричать, что я против революционной агитации, против Октября в театре. Я, в свою очередь, рассердился, сказал, что это «демагогия». Всеволод Эмильевич потерял самообладание, вызвал коменданта: «Арестовать Эренбурга за саботаж!» Комендант выполнить приказ отказался и посоветовал Мейерхольду обратиться в ВЧК. Я, возмущенный, ушел и решил, что больше в ТЕО не будет моей ноги. На следующее утро Всеволод Эмильевич позвонил: ему необходимо посоветоваться со мной о театре петрушки. Я пошел, и вчерашней сцены будто не было...

Всеволод Эмильевич заболел. Несколько раз я был у него в больнице; он лежал с забинтованной головой. Он мне рассказывал о своих планах, расспрашивал, что происходит в ТЕО, был ли я на новых постановках. Вероятно, в моих репликах и рассказах проскальзывала ирония, потому что Мейерхольд иногда упрекал меня в безверии, даже к цинизму. Однажды, когда я сказал о расхождении многих проектов с действительностью, он приподнялся и захохотал: «Вы - в роли заведующего всеми детскими театрами Республики, нет, Диккенс не придумал бы лучше!..» Бинты походили на чалму, а Всеволод Эмильевич, худой и носатый,- на восточного кудесника. Я тоже рассмеялся и сказал, что приказ о моем назначении подписан не Диккенсом, а Мейерхольдом.

Несколько раз я был на «Зорях». Это слабая пьеса, да и в постановке было много случайного. Мейерхольд боролся против «трех стен». о которых говорил Треплев, против рампы, против написанных декораций. Он хотел приблизить сцену к зрителям. Помещение было безвкусным - знаменитый кафешантан «Омон», где москвичи когда-то рассматривали полуголых «этуалей»; впрочем, зал был в таком состоянии, что его убранство не бросалось в глаза. Театр не отапливали, все сидели в шинелях, в полушубках, в тулупах. Изо

ртов актеров вырывались грозные слова и нежнейшие облака. Часть актеров разместили в партере; они неожиданно взбегали на сцену, где стояли серые кубы и зачем-то висели веревки. Иногда на сцену подымались и зрители: красноармейцы с духовым оркестром, рабочие. (Мейерхольд хотел посадить несколько актеров в ложу; они должны были изображать Эсеров и меньшевиков и подавать соответствующие реплики. Всеволод Эмильевич с сожалением мне рассказывал, что ему пришлось отказаться от этой идеи: зрители могут подумать, что это всамделишные контрреволюционеры, и начнется потасовка.) Был я и на спектакле, когда один из актеров торжественно прочитал только что полученную сводку, взят Перекоп. Трудно описать, что делалось в зале...

На диспуте постановку ругали; Маяковский защищал Мейерхольда. Не знаю, что сказать о самом спектакле: его не оторвешь от времени; он тесно связан с агитками Маяковского, с карнавальными шествиями, устраивавшимися «левыми» художниками, с климатом тех лет. Таким же представлением эпохи показалась мне на репетициях «Мистерия-Буфф». Любить эти спектакли было трудно, но хотелось их защищать, даже возвеличивать. Я писал в 1921 году: «Неудачные по выполнению, великолепные по замыслу постановки Мейерхольда: не только собирать театральность, но и немедленно ее растворить, уничтожить рампу, смешать комедиантов со зрителями». А Маяковский кончил свою речь на диспуте о «Зорях» так: «Да здравствует театр Мейерхольда, если даже на первых порах он и сделал плохую постановку!» Молодой Багрицкий писал:

Пышноголового Мольера
Сменяет нынче Мейерхольд.
Он ищет новые дороги,
Его движения - грубы...
Дрожи, театр старья, в тревоге:
Тебя он вскинет на дыбы!

Летом 1923 года я жил в Берлине; туда приехал Мейерхольд. Мы встретились. Всеволод Эмильевич предложил мне переделать мой роман «Трест Д. Е.» для его театра, говорил, что пьеса должна быть смесью циркового представления с агитационным апофеозом. Переделывать роман мне не хотелось; я начинал охладевать и к

цирковым представлениям, и к конструктивизму, зачитывался Диккенсом и писал сентиментальный роман со сложной интригой - «Любовь Жанны Ней». Я знал, однако, что Мейерхольду трудно перечить, и ответил, что подумаю.

Вскоре в театральном журнале, который издавали единомышленники Мейерхольда, появилась статья, где рассказывалось в форме фантастической новеллы о том, как меня похитил Таиров, для которого я подрядился переделать мой роман в контрреволюционную пьесу.

(Мейерхольд много раз в жизни подозревал добрейшего и чистейшего Александра Яковлевича Таирова в стремлении уничтожить его любыми средствами. Это относится к той подозрительности, о которой я говорил. Никогда Таиров не собирался ставить «Трест Д. Е.».)

Приехав в Советский Союз, я прочитал, что Мейерхольд готовит пьесу «Трест Д. Е.» написанную неким Подгаецким «по романам Эренбурга и Келлермана». Я понял, что единственный довод, который может остановить Мейерхольда, сказать, что я хочу сам инсценировать роман для театра или для кино. В марте 1924 года я написал ему, начав «Дорогой Всеволод Эмильевич» и кончив «сердечным приветом»: «Наше свидание прошлым летом, в частности беседы о возможности переделки мною «Треста», позволяют мне думать, что Вы дружественно и бережно относитесь к моей работе. Поэтому решаюсь первым делом обратиться к Вам с просьбой, если заметка верна, отказаться от этой постановки... Я ведь не классик, а живой человек...»

Ответ был страшен, в нем сказалось неистовство Мейерхольда, и никогда бы я о нем не рассказал, если бы не любил Всеволода Эмильевича со всеми его крайностями. «Гражданин И. Эренбург! Я не понимаю, на каком основании обращаетесь Вы ко мне с просьбой «отказаться от постановки» пьесы т. Подгаецкого? На основании нашей беседы в Берлине? Но ведь эта беседа в достаточной мере выяснила, что, если бы даже Вы и взялись за переделку Вашего романа, Вы сделали бы пьесу так, что она могла бы быть представлена в любом из городов Антанты...»

Я не был на спектакле; судя по отзывам друзей и по статьям расположенных к Мейерхольду критиков, Подгаецкий написал

слабую пьесу. Всеволод Эмильевич поставил ее интересно: Европа гибла шумно, убегали щиты декораций, актеры впопыхах перегримировывались, грохотал джаз. За меня неожиданно вступился Маяковский; на обсуждении постановки «Треста Д. Е.» он сказал о переделке: «Пьеса «Д. Е.» - абсолютный нуль... Переделывать беллетристические произведения в пьесу может только тот, кто выше их авторов, в данном случае Эренбурга и Келлермана»... Спектакль, однако, имел успех, и табачная фабрика «Ява» выпустила папиросы «Д. Е.». А я из-за этой плутой истории в течение семи лет не встречался с Всеволодом Эмильевичем...

Приезжая в Москву, я глядел постановки Мейерхольда: «Великодушного рогоносца», «Смерть Тарелкина», «Лес». Я покупал билет и боялся, что Всеволод Эмильевич меня увидит в зале. (Трудно было найти в этих пьесах агитационный апофеоз, их могли бы играть и в «городах Антанты». Всеволод Эмильевич никогда не стоял на месте.)

Мейерхольд не шел ровной, прямой дорогой; он подымался в гору, и его путь был петлистым. Когда его последователи кричали на всех перекрестках, что нужно разрушить театр, Всеволод Эмильевич уже готовил постановку «Леса». Многие не поняли, что же приключилось с неистовым иконоборцем: почему его прельстили Островский, трагедия искусства, любовь? (Так последователи Маяковского не поняли, почему в 1923 году, осудив перед этим лирическую поэзию, он написал «Про это». Интересно, что «Лес» был поставлен вскоре после того, как была написана поэма «Про это». Маяковский-поэт уже возвращался к поэзии, а Маяковский-лефовец сурово осудил Всеволода Эмильевича за его возвращение к театру: «Для меня глубоко отвратительна постановка «Леса»...»)

Картины висят в музеях, книги имеются в библиотеках, а спектакли, которых мы не видели, остаются для нас сухими рецензиями. Легко установить связь между «Про это» и ранними стихами Маяковского, между «Герникой» Пикассо и его холстами «голубого периода». А вот мне трудно судить, что перешло от дореволюционных постановок Мейерхольда в его «Лес» и «Ревизора». Бесспорно, многое: петли петлями, но ведь это - петли одной дороги...

«Лес» был чудесной постановкой, и спектакль волновал зрителей. Мейерхольд многое в нем открыл; по-новому передал трагедию искусства. Была, однако, в этой постановке деталь, которая выводила из себя (а может быть, радовала) противников Мейерхольда: зеленый парик на одном из актеров. Пьеса шла много лет подряд. Как-то после одного из спектаклей в Ленинграде состоялось обсуждение. Всеволода Эмильевича закидали записками: он радовался, сердился, шутил. «Скажите, что означает зеленый парик?» Он повернулся к актерам и недоумевающе сказал: «А действительно, что он означает? Кто его придумал?..» С того вечера зеленый парик исчез. Не знаю, сыграл ли Мейерхольд сцену изумления или искренне удивился: запаматовал деталь, придуманную, конечно же, им. (В жизни мне часто приходилось слышать недоуменные вопросы: «А кто действительно это придумал?», порой исходившие от авторов различных нелепостей, куда более важных, чем злосчастный парик.)

Мейерхольд был пугалом для людей, которым претило новое; его имя стало нарицательным; некоторые критики не замечали (или не хотели заметить), что Мейерхольд шел дальше: они его облаивали на полустанке, о котором он успел давно забыть.

Всеволод Эмильевич не страшился отступить от эстетических концепций, которые еще накануне казались ему правильными. В 1920 году, когда он ставил «Зори», он рвал с «Сестрой Беатрисой» и с «Балаганчиком». Потом он вышучивал придуманную им «биомеханику».

Треплев в первом акте говорит, что главное новые формы, а в последнем, перед тем как застрелиться, признается: «Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что это свободно льется из его души». В 1938 году Всеволод Эмильевич говорил мне, что спор идет не о старых и новых формах в искусстве, а об искусстве и о подделке под него.

Он никогда не отрекался от того, что считал существенным, отбрасывал «измы», приемы, эстетические каноны, а не свое понимание искусства; постоянно бунтовал, вдохновлялся, горел.

Ну что страшного было в чеховских водевилях? О «левом искусстве» к тому времени все успели позабыть. Маяковский был признан гениальным поэтом. А на постановку Мейерхольда все равно

накинулись. Он мог говорить самые обыкновенные вещи, но было что-то в его голосе, глазах, улыбке выводившее из себя людей, которым не по душе творческое горение художника.

Весной 1930 года в Париже я увидел мейерхольдовского «Ревизора». Это было в небольшом театре на улице Гэтэ, где обычно показывали жителям окраины вздорные водевили или раздирающие душу мелодрамы, с тесной и неудобной сценой, без фойе (в антрактах зрители выходили на улицу), словом, в помещении скорее мизерном. «Ревизор» меня потряс. Я успел давно охладеть к эстетическим увлечениям моей молодости и боялся идти на спектакль слишком ревниво любил Гоголя. И вот я увидел на сцене все то, чем меня притягивал Гоголь: щемящую тоску художника и зрелище неизбывной, жестокой пошлости.

Я знаю, что Мейерхольда обвиняли в искажении текста Гоголя, в кощунственном к нему отношении. Конечно, его «Ревизор» не походил на те спектакли, которые я видел в детстве и в молодости; казалось, текст раздвинут, но в нем не было отсебятины - все шло от Гоголя. Можно ли на одну минуту поверить, что обличение провинциальных чиновников эпохи Николая I - единственное содержание пьесы Гоголя? Разумеется, для современников Гоголя «Ревизор» был прежде всего жестокой сатирой на общественный строй, на нравы; но, как всякое гениальное произведение, он пережил стадию злободневности, он волнует людей сто лет спустя после того, как исчезли с лица земли николаевские городничие и почтмейстеры. Мейерхольд раздвинул рамки «Ревизора». В этом ли кощунство? Ведь различные театральные инсценировки романов Толстого или Достоевского считаются благородным делом, хотя они сужают рамки произведений...

Андрей Белый не только любил Гоголя, он был им болен, и, может быть, многие художественные неудачи автора «Серебряного голубя» и «Петербурга» следует отнести к тому, что он не мог преодолеть власти Гоголя. И вот Андрей Белый, увидев в театре Мейерхольда «Ревизора», выступил со страстной защитой этого спектакля.

А в Париже на спектакле были по большей части французы - режиссеры, актеры, любители театра, писатели, художники; это напоминало смотр знаменитостей. Вот Луи Жувэ, вот Пикассо, вот

Дюллен, вот Кокто, вот Дерен, вот Бати... И когда спектакль кончился, эти люди, казалось бы объевшиеся искусством, привыкшие дозировать свои одобрения, встали и устроили овацию, какой я в Париже не видел.

Я пробрался за сцену. В маленькой артистической уборной стоял взволнованный Всеволод Эмильевич. Еще белее стали волосы, длиннее нос. Семь лет прошло... Я сказал, что не мог вытерпеть, пришел поблагодарить. Он крепко обнял меня.

С тех пор ни разу не было между нами отдаления или холода. О вздорной ссоре мы не заговаривали. Мы встречались в Париже или в Москве, подолгу разговаривали, иногда и молчали, как можно молчать при настоящей близости.

Когда Мейерхольд решил поставить «Ревизора», он сказал актерам: «Вы видите аквариум, в нем давно не меняли воду, зеленоватая вода, рыбы кружатся и пускают пузыри». Мне он говорил, что, работая над «Ревизором», часто вспоминал Пензу гимназических лет.

(В 1948 году я шел по одной из пензенских улиц с А. А. Фадеевым, вдруг Фадеев остановился: «Это дом Мейерхольда...» Мы молча постояли; потом Александр Александрович в тоске сказал «эх», махнул рукой и быстро зашагал к гостинице.)

Мейерхольд ненавидел стоячую воду, зевоту, пустоту; он часто прибегал к маскам именно потому, что маски его страшили - не каким-то мистическим ужасом небытия, а одеревеневшей пошлостью быта, Заключительная сцена «Ревизора», длинный стол в «Горе от ума», персонажи «Мандата», даже чеховские водевили - все это тот же поединок художника с пошлостью.

То, что он стал коммунистом, не было случайностью: он твердо знал, что мир необходимо переделать. Он основывался не на чужих доводах, а на своем опыте. Среди нас он был стариком. Маяковский родился с революцией, а у Мейерхольда позади был клубок исхоженных им дорог: и Станиславский, и Комиссаржевская, и питерские символисты, «Балаганчик», Блок, исхлестанный снежными метелями, «Любовь к трем апельсинам» и много другого. Еще сидя в «Ротонде», мы гадали, как должен выглядет таинственный доктор Дапертутто (литературный псевдоним Мейерхольда).

Из всех людей, которых я вправе назвать моими друзьями, Всеволод Эмильевич был по возрасту самым старым. Я только родился в XIX веке, а он в нем жил, бывал в гостях у Чехова, работал с В. Ф. Комиссаржевской, знал Скрябина, Ермолову... И самое удивительное, что он оставался неизменно молодым; всегда что-то придумывал, бушевал, как гроза в мае.

Всю жизнь его сопровождали нападки. В 1911 году нововременец Меньшиков возмущался постановкой «Бориса Годунова»: «Я думаю, что г. Мейерхольд взял приставов из своей еврейской души, а не из Пушкина, у которого нет ни приставов, ни кнутьев...» Некоторые статьи, написанные четверть века спустя, были, право же, не чище и не справедливее приведенных выше слов...

Он не походил на мученика: страстно любил жизнь - детей и шумные митинги, балаганы и холсты Ренуара, поэзию и леса строек. Он любил свою работу. Несколько раз я присутствовал на репетициях: Всеволод Эмильевич не только объяснял - он сам играл. Помню репетиции чеховских водевилей. Мейерхольду было за шестьдесят, но он поражал молодых актеров неутомимостью, блеском находок, огромным душевным весельем.

Я говорил, что спектакли умирают - их не воскресишь. Мы знаем, что Адре Шенье был прекрасным поэтом, но мы можем только верить, что его современник Тальма был прекрасным актером. И все же творческий труд не исчезает: он может быть на время незримым, как река, уходящая под землю. Я смотрю спектакль в Париже, кругом восхищаются: «Как ново!», а я вспоминаю постановки Мейерхольда. Я вспоминаю их и сидя во многих московских театрах. Вахтангов писал: «Мейерхольд дал корни театрам будущего - будущее и воздаст ему». Перед Мейерхольдом преклонялся не только Вахтангов, но и Крэг, Жувэ, многие другие крупнейшие режиссеры, Эйзенштейн мне как-то сказал, что его не было бы без Мейерхольда.

Еще в августе 1930 года он писал мне: «...Театр может погибнуть. Враги не дремлют. Много есть в Москве людей, для которых театр Мейерхольда бельмо на глазу. Ох, долго и скучно об этом рассказывать!»

Наши последние встречи были невеселыми. Я приехал из Испании в декабре 1937 года. Театр Мейерхольда был уже закрыт. От пережитого жена его, Зинаида Николаевна Райх, душевно заболела.

Поддерживал Мейерхольда К. С. Станиславский, который часто ему звонил по телефону, пытался приободрить.

В это время П. П. Кончаловский написал замечательный портрет Мейерхольда. Многие портреты Кончаловского декоративны, но Петр Петрович горячо любил Мейерхольда и в портрете раскрыл его вдохновение, тревогу, душевную красоту.

Всеволод Эмильевич подолгу сидел у себя, читал, рассматривал художественные монографии. Он все еще дерзал: ему мерещилась постановка «Гамлета»; он говорил: «Я, кажется, теперь смогу справиться. Прежде не решался. Если бы исчезли все пьесы мира, а «Гамлет» остался, то остался бы и театр...»

Мне хочется еще сказать, что Мейерхольда поддерживала в это трудное для него время Зинаида Николаевна. Передо мною копия письма Всеволода Эмильевича жене, написанного в октябре 1938 года из дачной местности Горенки: «...Приехал я в Горенки 13-го, плянул на березки и ахнул... Смотри, эти листья рассыпаны по воздуху. Рассыпанные, они застыли, как будто замерзли... Застывшие, они чего-то ждут. Как их подстерегли! Секунды их последней жизни я считал, как пульс умирающего. Застану ли я их в живых, когда снова я буду в Горенках через день, через час. Когда я смотрел 13-го на сказочный мир золотой осени, на все эти чудеса, я мысленно лепетал: Зина, Зиночка, смотри на эти чудеса и не покидай меня, тебя любящего, тебя - жену, сестру, маму, друга, возлюбленную, золотую, как эта природа, творящая чудеса!.. Зина, не покидай меня! Нет на свете ничего страшнее одиночества!»

Мы расстались весной 1938 года - я уезжал в Испанию. Обнялись. Тяжелым было это расставание. Больше я его не видел: в июне 1939 года Мейерхольд был арестован в Ленинграде, 1 февраля 1940 года был приговорен к десяти годам без права переписки. Справка о смерти помечена 2 февраля.

В 1955 году молодой прокурор, никогда прежде не слышавший имени Мейерхольда, рассказал мне о том, как был оклеветан Всеволод Эмильевич, он прочитал мне его заявление на закрытом заседании военного трибунала. «...Мне шестьдесят шесть лет. Я хочу, чтобы дочь и мои друзья когда-нибудь узнали, что я до конца остался честным коммунистом». Читая эти слова, прокурор встал. Встал и я.

Вскоре я вернулся в потерянный рай: товарищ Адам, прочитав записку заместителя наркома Л. Кара хана, составленную абстрактно и возвышенно, а именно: «Эренбург остается жить», предоставил нам комнату. Я получал паек, а с февраля мне дали карточку на обеды в «Метрополе»; там отпускали пустой суп, пшенную кашу или мороженую картошку. При выходе нужно было сдать ложку и вилку - без этого не выпускали.

Кто-то сказал мне, что я родился в рубашке. Однако я не только родился в рубашке, я ходил в одной рубашке; а Москва зимой не Бразилия...

Давным-давно я описал в журнале «Прожектор», как в конце 1920 года я раздобыл себе одежду. Это не очень серьезная история, но она восстанавливает некоторые бытовые черты тех лет, да и показывает, что житейские трудности нас не обескураживали.

Я уже упоминал о моем парижском пальто, с годами превратившемся в дырявый капот. Я не сказал о самом главном - о костюме; пиджак еще как-то держался, но брюки расползлись.

Тогда-то я понял, что означают штаны для тридцатилетнего мужчины, вынужденного жить в цивилизованном обществе, - обойтись без штанов действительно невозможно. На службе я все время сидел в пальто, боясь неосторожным движением распахнуть полы: ведь со мною работали поэтесса Ада Чумаченко и молодые фребелички.

Краснофлотец-драматург пригласил меня к себе; жил он в «Лоскутной». Я пережил у него немало мучений; он накормил меня замечательными оладьями, но эти оладьи приготавливала молодая женщина. В комнате было жарко, меня уговаривали снять пальто, а я упирался и никак не мог объяснить почему.

Однажды меня не пустили в Камерный театр; я показывал приглашение, мандаты, различные удостоверения; но контролер был неумолим: «Товарищ, в верхнем платье не разрешается...»

Хотя я заведовал всеми детскими театрами Республики и получал полтора пайка, я чувствовал себя неполноценным: у меня не было штанов.

Наступила суровая зима. Мое пальто грело не больше, чем кружевная шаль. Я простудился, чихал, кашлял. Наверно, у меня была температура, но мы тогда этим мало интересовались. Случайно я встретил одного из товарищей по подпольной гимназической организации; поглядев на меня, он рассердился: «Почему вы мне раньше не сказали?..» Он написал записку председателю Моссовета и шутя добавил: «Лорд-мэр Москвы вас оденет».

Попасть на прием к «лорд-мэру» было нелегко, в приемной толпились всевозможные просители. Наконец я проник в просторную комнату; за письменным столом сидел почтенный человек с аккуратно подстриженной бородкой, которого я хорошо знал по Парижу. Я понимал, что у него уйма дел, и стеснялся. Он был чрезвычайно любезен, говорил о литературе, спрашивал, какие у меня творческие планы. Ну как здесь было заговорить о штанах? Наконец, набравшись храбрости и воспользовавшись паузой, я в отчаянии выпалил: «Кстати, мне совершенно необходимы брюки...»

«Лорд-мэр» смутился: он внимательно меня оглядел: «Да вам не только костюм нужен, а и зимнее пальто...» Он дал мне записку к заведующему одним из отделов МПО; на записке было сказано лаконично: «Одеть т. Эренбурга».

На следующее утро, встав пораньше, я пошел в МПО (эти буквы не имеют ничего общего с противовоздушной обороной, обозначали они «Московское потребительское общество» - ведомство, которому было поручено снабжать население продовольствием и одеждой). С легкомыслием баловня судьбы я спросил: «Где здесь выдают ордера на одежду?» Кто-то мне показал длинейший хвост на Мясницкой.

Было очень холодно; и, стоя в очереди, я малодушно забыл про брюки - мечтал о теплом зимнем пальто. Под вечер я приблизился к заветной двери. Но тут приключилось нечто непредвиденное. Ко мне подошла молодая женщина, повязанная теплым платком, и возмущенно завизжала: «Нахал какой! Я здесь с пяти утра стою, а он только пришел - и на мое место...» Она навалилась на меня, а весила она немало; я сопротивлялся, но безуспешно - она меня вытеснила из очереди. Я обратился к людям, стоявшим позади: «Товарищи, вы ведь видели, что я весь день стою...» Люди были голодные, усталые, безучастные; никто меня не поддержал. Я понял, что справедливости не дожидаться, отошел на несколько шагов, разбежался и с ходу

вытолкнул самозванку из очереди. Люди продолжали равнодушно молчать: они явно предпочитали нейтралитет. А женщина преспокойно ушла и начала искать уязвимое место в длиннущей очереди.

Наконец я вошел в кабинет заведующего, который, прочитав записку, сказал: «У нас, товарищ, мало одежды. Выбирайте - пальто или костюм». Выбрать было очень трудно; замерзший, я готов был попросить пальто, но вдруг вспомнил унижения предшествующих месяцев и крикнул: «Брюки! Костюм!..» Мне выдали соответствующий ордер.

Я пошел в указанный распределитель; там мужских костюмов не оказалось, мне предложили взамен дамский или же плащ. Я, разумеется, отказался, и меня направили в другой распределитель, где мне показали костюм, сшитый, видимо, на карлика и поэтому уцелевший с царских времен. Наконец в распределителе на углу Петровки и Кузнецкого я нашел костюм по росту, надел брюки и почувствовал себя человеком. В детской секции ТЕО я сразу составил десять проектов. Стояли, однако, сильные морозы, и я продолжал отчаянно кашлять. Сознание, что на мне брюки, придавало мне бодрости, и я начал разыскивать зимнее пальто.

Будучи страстным курильщиком, я раз в месяц на Сухаревке менял хлеб на табак. На Сухаревке торговали всем - китайскими вазами, кусочками сахара, рассыпными папиросами, камнями для зажигалок, бухарскими коврами, дореволюционным, заплесневевшим шоколадом, романами Бурже в сафьяновых переплетах. На Сухаревке можно было купить и рваный полушубок, но стоил он не менее пятидесяти тысяч. А денег у меня не было. В карманах новенького пиджака я держал мандаты, проекты, стихи, старую, насквозь прожженную трубку, табачную труху и порой кусочек сахара, который уносил из гостеприимного дома заведующего ИЗО Д. П. Штеренберга.

Недавно мне попался в руки каталог рукописных книг, которыми торговала «Книжная лавка писателей»; среди авторов Андрей Белый, В. Лидин, М. Герасимов, Шершеневич, Марина Цветаева, И. Новиков, много других. Проставлена и моя книжка: «Испанские песни», цена 3000 рублей. Книжка, переписанная Шершеневичем, снабжена примечанием: «По себестоимости 4 куса сахара - 2000 рублей,

кружка молока - 1800, 50 папирос - 6 000». Деньги были настолько обесценены, что о них мало кто думал; мы жили пайками и надеждой. Все же я решил набрать деньги на пальто и подрядился прочитать стихи в кафе «Домино». Там было нестерпимо холодно; посетителям давали чай с сахарином или смертельно-бледную, голубоватую простоквашу. Не понимаю, почему туда приходили люди. В морозном полумраке раздавался зловещий вой Шершеневича, Поплавской или Дира Туманного. Ходили в «Домино» спекулянты, агенты уголовного розыска, любознательные провинциалы и чудаки-меланхолики.

Я снял с себя шинель Акакия Акакиевича, чихнул и начал выть - тогда все поэты выли, даже когда читали нечто веселое. Один спекулянт сочувственно высморкался, двое других не выдержали и ушли. Я получил три тысячи.

Мне повезло: несколько дней спустя я набрел на весьма подозрительного гражданина, который предложил мне достать полушубок за семь тысяч рублей. Это было почти даром. Я продал хлебный паек за две недели и притащил полушубок в «Княжий двор».

Полушубок был чересчур тесен и сильно вонял, но мне он казался горностаевой мантией с картины Веласкеса. Я его надел и хотел было отправиться в Дом печати, но тут пришла из Вхутемаса Люба и потребовала, чтобы я снял с себя обновку: на груди полушубка красовалась большущая печать. Гражданин недаром мне показался подозрительным: он продал краденый военный полушубок.

Мною овладела резиньяция: лучше чихать, кашлять, чем попасть в поганую историю. Но Люба недаром была конструктивисткой, училась у Родченко и говорила весь день о фактуре, о вещности, о производственной эстетике - она нашла выход.

В Москве существовали тогда «магазины ненормированных продуктов»; там продавали мороженые яблоки, химический чай «Шамо», сахарин, швабры, сита. Я продал два фунта паечного пшена и в «магазине ненормированных продуктов» купил краску для кожи. Люба привычной рукой взялась за кисти. Полушубок с каждой минутой хорошел: он превращался в черную куртку шофера. Но, к сожалению, кожа жадно впитывала краску; один рукав так и остался незакрашенным, а больше не было ни краски, ни рублей, ни пшена.

Конечно, я мог бы ходить в черном полушубке с желтым рукавом; никто на меня не обернулся бы. Все были одеты

чрезвычайно своеобразно. Модницы щеголяли в вылинявших солдатских шинелях и зеленых шляпках, сделанных из ломберного сукна. На платья шли бордовые гардины, оживляемые супрематическими квадратами или треугольниками, вырезанными из покрышек рваных кресел. Художник И. М. Рабинович прогуливался в полушубке изумрудного цвета. Есенин время от времени напяливал на голову блестящий цилиндр. Но я боялся, что желтый рукав отнесут к эксцентричности, примут не за беду, а за эстетическую программу.

Под Новый год в ТЕО всем сотрудникам выдали по банке гуталина. Это было воспринято как несчастье, тем паче что накануне в МУЗО выдавали кур. Но Люба нашла применение сапожной мази: она покрыла ею желтый рукав.

Новый год мы встречали у художника Рабиновича. Говорили, что будет ужин, даже водка; но никто ничего не раздобыл. Мы ели кашу и чокались кружками с чаем, а веселились, как будто пили шампанское.

Проклятый гуталин, однако, не высыхал; стоило пойти снегу, как рукав становился марким. Я испачкал несколько чужих пальто; меня начали побаиваться, и я предупредил: «Пожалуйста, идите слева - справа я пачкаю...»

Все же я мог теперь, не замерзая, бродить ночью по улицам Москвы. Все тогда ходили по мостовой - не было ни машин, ни лошадей, а тротуары напоминали каток. Днем многие тащили салазки дрова, керосин, пшено. Люди «прикреплялись» или «откреплялись» - это относилось к продовольственным карточкам. (Помню стихи:

Что сегодня, гражданин, на обед?

Прикреплялись, гражданин, или нет?)

А по ночам бродили мечтатели. Никогда не забуду и тех прогулок! Мы медленно продвигались между сугробами; порой шли цепью - один за другим. Так идут в пустыне караваны. Мы говорили о поэзии, о революции, о новом веке; мы были караванами, которые пробирались в будущее. Может быть, поэтому с такой легкостью мы переносили и голод, и холод, и многое другое. Караваны шли по всем русским городам, и двадцатипятилетний Н. С. Тихонов, которого я тогда не знал, наверно, читал кому-нибудь свои стихи:

Гвозди б делать из этих людей;

Крепче б не было в мире гвоздей.

Мы шли гуськом, над нами сверкали звезды - улицы были темными, никто не мешал звездам сверкать. В день моего рождения Ядвига печально сказала, что не смогла раздобыть подарка - ни цветов, ни леденца; шутя она добавила, глядя на звездное небо: «Я тебе дарю Кассиопею...» Мы не подозревали, что доживем до того времени, когда в Организации Объединенных Наций будут рассуждать, как оградить небесные светила от захвата, и когда все девушки смогут подносить своим друзьям пристойные галстуки из шелка, шерсти или химической массы...

Я продолжал работать в детской секции ТЕО. Конечно, к нашим трудам можно подойти недоверчиво: мы главным образом составляли проекты детских театров да еще добывали пайки для актеров. Время было трудное; напомним для его характеристики слова В. И. Ленина, написанные им в феврале 1921 года по поводу работы Наркомпроса: «Мы нищие. Бумаги нет. Рабочие холодают и голодают, раздеты, разуты. Машины изношены. Здания разваливаются». Мы старались поддержать различные начинания. Существовал Детский театр, которым руководила актриса Генриетта Паскар. Скульптор Ефимов и его жена давно занимались кукольным театром. Появилась молоденькая Наташа Сац, потом много сделавшая для художественного воспитания детей. В различных рабочих клубах устраивались спектакли для детворы. Наконец, знаменитый клоун и дрессировщик животных В. Л. Дуров задумал показывать детям четвероногих артистов.

Тогда все больше проектировали, чем осуществляли: фантазии было много, средств мало. Все же мне кажется, что наша на первый взгляд совершенно бессмысленная работа дала некоторые результаты: мы помогли будущим драматургам, режиссерам, актерам создать пять или десять лет спустя интереснейшие театры для детей.

Внешне было много забавного. Мы работали рядом с секцией цирка, ею руководила актриса Рукавишникова, жена поэта. Иногда она уезжала домой в санях. Около Манежа лошадь неожиданно становилась на задние ноги, как будто она пудель, или начинала вальсировать, пугая прохожих: это была цирковая лошадь, которую заставляли выполнять обязанности битюга, и она, видимо, не могла преодолеть страсти к искусству. Наша детская секция, впрочем, не уступала циркачам: к особняку порой подбегал тощий, аскетический верблюд, запряженный в сани, - его посылал за мной В. Л. Дуров.

К Рукавишниковой приходили живописные посетители. Жонглеры, подымавшие пудовые гири, требовали академических пайков. Иностранцы акробаты протестовали против уплотнения. Один клоун истошно вопил: «При чем тут марксистское объяснение

событий? Я не могу допустить, чтобы мои шутки брали всерьез. Не для этого мы делали революцию!..» Ко мне приходили куда более скучные посетители - неудачливые драматурги. В одной из газет была напечатана статья о том, что пет пьес для детей; и вот в Москву начали приезжать люди различных профессий из Тамбова, из Челябинска, из Твери; они загромождали маленькую комнату кипами рукописей. Пьесы были написаны зелеными чернилами на обороте нотариальных актов, на листочках, вырванных из тетрадей, даже на оберточной бумаге. Один автор изображал героические похождения малолетнего Лассаля, другой доказывал, что русалки - продукт буржуазного сознания, третий изобличал козни Антанты (я почему-то запомнил стихи: «Зарубите на носу, как мы дали Клемансу»). Некоторые начинали здесь же читать вслух свои произведения. Один просидел в секции несколько дней: требовал охранной грамоты на комнату и академического пайка.

Был я в клубе возле Таганской площади; там сборная труппа поставила для детей пьесу никому не известного драматурга иол названием «Судьба Паши». Актеры на сцене натурально кричали, пили чай и все время говорили о пользе учения. Девочку Пашу играла пожилая актриса, она повторяла с психологическими паузами: «Так вот, значит, поняла я темп жизни и захлопнула книжку...»

Театр Паскар инсценировал «Джунгли» Киплинга. Пантера на сцене сладострастно потягивалась и кривлялась, как будто она не зверь, а Саломея из пьесы Уайльда. Мне это показалось декадентством, и я рассердился. (Теперь спутались многие понятия. Большая Советская Энциклопедия причисляет к декадентам Сезанна, Гогена, Рембо, Гамсуна, Дебюсси, Равеля - словом, почти всех крупных писателей и художников конца XIX и начала XX века. А ведь декадентство действительно существовало - достаточно вспомнить ту же «Саломею», романы Пшибышевского или картины Штука.) Выслушав мою критику, Г. Паскар спокойно ответила, что я могу ставить другие пьесы, где мне заблагорассудится, и вообще заняться чем-либо иным. Подумав, я решил, что она права, и начал посвящать свободное от проектов время работе с В. Л. Дуровым - его звери не были ни натуралистами, ни декадентами.

Была у меня и другая служба. На Пречистенке, в доме, который меня волновал, когда я был гимназистом (там был Институт для

благородных девиц), помешалась Военно-химическая академия, и курсанты предложили мне обучать их стихосложению. Им хотелось писать ямбом, хореем и даже свободным стихом. Они прилежно считали слоги и подыскивали рифмы. Вряд ли из них вышли поэты, но я убежден, что на всю жизнь они запомнили свое тяготение к поэзии, как помнят люди свою первую любовь.

Для прозы тогда не было ни времени, ни бумаги; кроме того, проза требует душевного опыта, наблюдений, критического подхода, умения осмыслить происходящее; проза начала появляться несколько лет спустя. Зато было раздолье для стихов. Теперь у нас устраивают День поэзии; поэты выступают в книжных лавках и соблазняют любителей автографами. А тогда стихи декламировали повсюду - на бульварах, на вокзалах, в морозных цехах заводов, и это был не День поэзии, а целая се эпоха.

Помню, как в Союз поэтов поступило заявление: отряд Красной Армии, который направлялся на юг для ликвидации врангелевцев, просил прислать в казармы Маяковского. Есенина, Пастернака или какого-нибудь другого поэта, чтобы бойцы услышали на прощание стихи.

Был «Суд над современной поэзией», потом «Суд над имажинизмом», различные поэтические диспуты. Было множество литературных школ: комфуты, имажинисты, иролеткультовцы, экспрессионисты, фуисты, беспредметники, презентисты, акцидентисты и даже ничевоки. Конечно, немало глупостей несли иные теоретики, выступавшие в кафе «Домино» или в Доме печати; за нагромождением непривычных слов порой ничего не скрывалось, кроме жажды славы или озорства. Но мне хочется защитить то далекое время. Раскрывая теперь книги поэтов, известных далеко за пределами нашей страны, мы видим, сколько прекрасных стихотворений было написано в годы военного коммунизма. Никогда люди так плохо не жили, и, кажется, никогда в них не было такого творческого горения.

В домах было холодно, темно, неприглядно, и вечером люди осаждали театры. На сцене кружились персонажи Гофмана. Гоцци, Кальдерона, Шекспира. Художники Веснин, Якулов, Экстер ослепляли зрителей великолепием костюмов и декораций.

Романтизм был литературным направлением в первой половине XIX века; что касается романтики, то она всегда присутствует в искусстве: художник видит то, чего уже нет или еще не было в действительности. Мейерхольд поставил в Театре революции «Озеро Люль», Таиров - «Человека, который стал четвергом», и на сцене взвивались к небу лифты, а в Москве тогда лифты бездействовали. Ученики Вхутемаса работали над новой конструктивной формой телефонных аппаратов; большинство номеров в городской сети было выключено. Помню, на одной из репетиций «Мистерии-Буфф» в Театре РСФСР I Маяковский, улыбаясь, сказал мне: «Вы подождите - в последней картине мир будущего: небоскребы, электротракторы и большущие сахарные головы...»

Люба училась у А. М. Родченко. Он рисовал кубистические проекты киосков для газет. Сорок лет спустя в различных странах я увидел киоски, выставочные павильоны, даже жилые дома, напоминающие, разумеется в смягченном, прилаженном виде, старые проекты Родченко. Лисицкий работал над макетами книги будущего. Сильнее всего меня потряс Татлин. В Доме профсоюзов был выставлен его проект памятника Третьему Интернационалу. Два цилиндра и пирамида вращались; залы из стекла были опоясаны стальной спиралью. Конструктивисты любили говорить о логике, об утилитарном назначении искусства. По проекту Татлина, зал, в котором должен был заседать Совнарком, вращался. Это было с точки зрения утилитарной бессмысленно, и все же это было доподлинной романтикой эпохи. Я долго стоял перед большой моделью и вышел на улицу потрясенный: мне казалось, что я заглянул в щелку и увидел XXI век. Теперь я думаю иначе: меня поразила своеобразная красота проекта, искусство - вне вопросов о градостроительстве грядущего или о преимуществе индустриализированной архитектуры.

Пути искусства очень сложны. Сервантес, желая высмеять рыцарские романы, создал рыцаря, который один пережил свою эпоху и на жалком Россинанте проскакал в наши дни. Бальзак думал, что он возвеличивает аристократию, а он ее хоронил.

Конечно, я, как и все друзья, с которыми встречался, жадно вглядывался в будущее. Никаких газетных киосков не было - ни кубистических, ни обыкновенных; и газеты мы читали не за утренним завтраком, а на улице - их расклеивали на стенах. Врангелевцев

разбили; гражданская война было выиграна. На субботниках люди с большим мужеством пытались победить голод, разруху, нищету. В мире происходили различные, порой противоречивые события. Реакция торжественно жертвовала; но то вспыхивало восстание в Саксонии, то начиналась забастовка английских горняков; Индия требовала независимости. Мировая революция казалась нам не смутным идеалом, а делом завтрашнего дня. Порой, однако, мною овладевали сомнения: я не мог понять, почему во Франции, которую я хорошо знал, после страшных лет войны, после первых солдатских бунтов ничего, ровно ничего не происходит...

О человеке порой говорят: «Ему не сидится на месте»; это относится к пространству. А я сейчас говорю о времени: нам не терпелось перешагнуть в следующее столетие. Все понятия были опрокинуты: одна из самых отсталых стран Европы очутилась впереди других. Она жила теми идеями, теми литературными и художественными концепциями, которые несколько десятилетий спустя потрясли Запад. А жизнь (я говорю о быте) была доисторической, буднями пещерного века.

Все хотели все знать. Есть много книг, описывающих штурм укреплений, фортов, крепостей. А то было время, когда народ штурмовал знание. Старые женщины сидели над букварями. Школьные учебники стали редкостью, как первопечатные книги. Вузы были переполнены молодыми энтузиастами. Нельзя было пройти на доклад или на лекцию; в аудитории Политехнического музея прорывались, как в вагон полуразвалившегося трамвая. Лекторов закидывали записками, и о чем только люди не спрашивали о забастовках в Вестфалии, о рефлексах Павлова, о супрематизме, о борьбе за нефть, о евгенике, о рифмах Маяковского, о теории относительности, о заводах Форда, о преодолении смерти и о множестве других предметов.

Товарищ Адам раздобыл уголь, и «Княжий двор» начали отапливать. По вечерам к нам часто приходили друзья. Почти каждый вечер приходил Б. Л. Пастернак, который жил в соседнем доме. Мы спорили о мировых событиях, о поединке между футуристами и имажинистами, о живописи Розановой и Альтмана, о постановках Мейерхольда: нам хотелось перевернуть страницу истории.

Я часто сбивался, противоречил самому себе. Меня восхищали города будущего, похожие на проекты Татлина, но, будучи Павлом Савловичем, я писал:

Провижу грозный город - улей.
Стекло и сталь безликих сот,
И карнавал среди гулких улиц,
Похожий на военный смотр.
На пустыри ложатся тени
Спиралей будущих времен.
Ярмо обдуманых равнений
И рая нового бетон.

Среди сугробов московских переулков, в полушубке, частично покрашенном ваксой, я ни на минуту не сомневался, что различные проекты станут действительностью и что вместо покосившихся деревянных домишек, памятных мне с детства, вырастет новый, необычайный город. Будь я на десять лет моложе, я бы восторженно улыбался; по, родившийся в 1891 году, рядовой представитель русской дореволюционной интеллигенции, с детства запомнивший слова Короленко о том, что человек создан для счастья, как птица для полета, я часто мучительно гадал, какой будет жизнь человека в этом городе будущего.

Во мне боролись пафос с иронией, вера с логикой. В Третьем общежитии Наркоминдела я как-то встретил бельгийского гостя. Он говорил о плачевном состоянии нашего транспорта и о преимуществах конституционных гарантий. Я резко возражал: буржуазный мир обречен, голодные крестины куда привлекательнее самых пышных похорон. Он назвал меня «фанатиком». А если говорить откровенно, я никак не походил на шестнадцатилетнего мальчонку, высмеивавшего Надю Львову за ее любовь к стихам Блока. Многие меня смущало, даже возмущало: упрощенность, нетерпимость, пренебрежение к культуре прошлого, слова, которые мне приходилось часто слышать: «А чего тут туман наводить, все ясно...» Но теперь я знал, что история делается не по щучьему велению, не по своему хотению, да и не по прекрасным романам XIX столетия. Я знал, что моя судьба тесно связана с судьбой новой России.

В эту зиму мне исполнилось тридцать лет. Цифра меня смутила, я в тоске подумал, что ничего еще не сделал: все было только пробами пера, примерками, черновыми репетициями. Удивительно: ритм жизни ускорился, появились авиация и кино, исторические события обгоняли одно другое, а мои сверстники формировались куда медленнее, чем люди тихого, неторопливого XIX века. Бабель начал по-настоящему писать в тридцать лет. Сейфуллина - в тридцать два, Паустовский - в тридцать четыре. А ведь Гоголь написал «Ревизора», когда ему было двадцать семь лет. Одно из самых изумительных произведений русской литературы - «Герой нашего времени» - написано двадцати шестилетним юношей. Не знаю, может быть, поспешность событий, их лихорадочность не давали нам возможности призадуматься, осознать происходящее, понять себя и других.

Жалеть о тех годах не приходится. Даже если мы были хворостом, который подкидывали в костер, это не обидно: костер разгорелся, он оказался куда длиннее человеческой жизни.

Мне хотелось многое описать: довоенный Париж, окопы Соммы, революцию, гражданскую войну, макеты, проекты, сугробы, а главное - забежать вперед. Я понимал, что не сумею это сделать в стихах. Замысел романа обрастал плотью. Как-то, вспомнив рассказы Диего Риверы, я решил, что герой моего сатирического романа будет мексиканцем.

Отрываясь от проектов кукольного театра, я неожиданно для себя начинал думать о главах «Хулио Хуренито».

Хотя В. Л. Дуров не одобрял футуристов, он сам был эксцентриком, и спектакль, которым он открыл свой театр для детей, назывался: «Зайцы всех стран, соединяйтесь!» Я хорошо помню его содержание. Вначале заяц приподымал деревянный переплет большой книги, на котором значилось «Капитал»; он перелистывал страницы, потом подзывал к себе других зайцев; их было не менее двадцати. В следующей картине на сцене был макет дворца; его охраняли кролики с ружьями. Из-за кулис выбегали зайцы, выталкивая игрушечную пушку; зайцы стреляли из пушки в кроликов и, одержав победу, подымали над дворцом красный флаг.

Занавес подымал и опускал медвежонок в синей блузе.

Восторг детей был неопиcуем; бледненькие и худые, они хохотали до упаду. А после того как падал занавес, зайцы и кролики выбегали на авансцену, и происходило то общение зрителей с актерами, о котором тщетно мечтал постановщик «Зорь». (При входе дети получали кусочки морковки, ими они покоряли актеров.)

Спектакль продолжался полчаса, но потребовал длительной работы. Владимир Леонидович Дуров объяснил мне с самого начала, что хочет опровергнуть неправильные представления о животных. Принято, например, считать, что заяц трус и что заяц косой; значит, нужно показать, как ловко заяц стреляет из пушки.

Владимиру Леонидовичу тогда исполнилось пятьдесят семь лет; он был самым знаменитым клоуном России; мальчиком я его видел в цирке и запомнил смешного человека в ярком одеянии со множеством фантастических медалей. Да и задолго до того, как я родился, братья Дуровы были любимцами России. А. П. Чехов смеялся, глядя на фокусы дворняжки В. Л. Дурова Запятайки. Может быть, я видел в детстве и не Владимира Леонидовича, а его брата Анатолия, который одно время был более популярным? Братья сначала выступали вместе, потом рассорились. Владимир Леонидович стал писать на афишах «Дуров-старший»; Анатолий Леонидович называл себя «Дуров-настоящий». (Он умер перед революцией и завещал, чтобы на его могиле поставили те же слова: «Дуров-настоящий».)

Так или иначе, когда я познакомился с Владимиром Леонидовичем, он был «Дуровым-единственным». Сотрудники цирковой секции ТЕО звали его к себе, а он был увлечен зверями. Помню, как он впервые пришел ко мне: нужно помочь устроить в его особняке на Божедомке театр для детей. Он говорил о работах Павлова, об условных и безусловных рефлексах; казалось, что это не прославленный клоун, а почтенный профессор.

Я был приглашен на одну из первых репетиций. Владимир Леонидович старался вылечить зайцев от страха; это было нелегко. Хотя животные, по словам Дурова, повинуются различным рефлексам, а человек, если Декарт не ошибался, мыслит, следовательно, существует, между поведением людей и зверей много общего; в частности, легче запугать самого смелого человека, чем сделать из труса героя. Дуров говорил, что когда червяк ползет от цыпленка, цыпленок его пожирает, а когда червяк ползет на цыпленка, цыпленок поспешно ретируется. (Есть, кстати, пословица «Молодец против овец, а на молодца и сам овца», которую придумали не цыплята и не зайцы.) Репетиции происходили ночью. Владимир Леонидович терпеливо кормил премьера труппы, милейшего зайца, морковью, причем рука дрессировщика пугливо пятилась. Что касается пушки, то она откровенно убегала от зайца. Через две или три недели зайцы поняли, что они сильнее всех. Этот метод дрессировки Дуров называл «трусобманом».

Морковь играла в режиссуре величайшую роль: она лежала между страницами книги, и, чтобы получить морковь, заяц дергал шнур, который приводил пушку в действие.

В ходе работы выяснилось, что кролики ничего не имеют против головных уборов, но зайцы выходят из строя, когда им напяливают на головы шапки. Владимир Леонидович уступил, и зайцы штурмовали дворец без шлемов.

Морковь кто-то Дурову доставлял, но медвежонку приходилось трудно. Я обратился в МПО с просьбой взять на снабжение медведя как участника спектакля. Несмотря на скудный паек, медвежонок рос, и блуза больше на него не налезала. Дуров настаивал, чтобы я выпросил ситцу на новую блузу. Напрасно я говорил, что это чрезвычайно сложно, что я потратил много времени, добывая для себя

штаны, что медвежонок может выступать и без блузы. В итоге ситец мы раздобыли.

Дуров тяжело переживал гибель молодого слоненка Бэби, которого он временно поместил в Зоологическом саду. Угля не было, Бэби мерз, простудился и умер. Он весил около трех тысяч килограммов; мясо роздали сотрудникам и рабочим зоопарка. А Владимир Леонидович уныло повторял: «Вы его не видели... У него были редкие способности...» Пять лет спустя он писал: «Погиб лучший мой, честный, преданный товарищ, погиб мой Бэби дитя, которое я воспитал и к которое вложил часть своей души».

Второй постановкой была сцена, которую Дуров показал впервые в начале века под названием «Гаагская мирная конференция». Теперь название изменилось. За столом рядышком сидели заклятые враги: волк и козел, кошка и крыса, лисица и петух, медведь и свинья.

Владимир Леонидович подробно мне объяснил, как он подготовлял эту сцену. Клетка, в которой сидела крыса, была обвешана бубенцами и на колесиках по рельсам спускалась со стола к корзине, где находилась кошка. Шум, бубенцы пугали кошку, и мало-помалу она начала побаиваться крысы. А крыса с каждым часом смелела. Так Дуров дрессировал и других участников спектакля. Сильные переставали быть уверенными в своей безнаказанности, а слабые вылечивались от страха; на этом было построено «мирное сосуществование».

В зиму, о которой я рассказываю, я часто видался с Владимиром Леонидовичем, старался ему помочь и пристрастился к нему. Потом мы встречались редко, но всякий раз Дуров меня забавлял, восхищал, вдохновлял. Он был одним из самых фантастических людей, которых я встретил в жизни. На цирковой арене он хотел проповедовать, учить, давал научные объяснения, твердил о рефлексах и одновременно выезжал в своем ослепительном костюме на шестерке собак или верхом на свинье. А у себя на Божедомке, куда приходили ученые - Челпанов, Бехтерев, он вдруг прерывал серьезные объяснения клоунской шуткой. Был он по природе поэтом и поэзию нашел в мире четвероногих актеров.

Он часто путался, говоря с людьми. Материализм у него смешивался с толстовством, марксизм - с христианством. Научные труды он подписывал «Дуров-самоучка». Но по-настоящему легко и

просто он чувствовал себя с животными. Он обращался к человеку с просьбой: «пусть он почувствует в животном личность, сознающую, думающую, радующуюся, страдающую».

В голове Владимира Леонидовича рождались фантастические планы.

В одной из книг Дурова приведен текст письма, полученного им в августе 1917 года: «Морской генеральный штаб рассмотрел предложение г-на Дурова о дрессировке им животных: морских львов и тюленей, для целей морской войны, и находит это предложение весьма интересным...» Письмо подписал начальник штаба, контр-адмирал. Легко догадаться, в каком состоянии находились тогда военные начальники, если они всерьез надеялись применить дрессированных тюленей против немецких подводных лодок...

Потом все встало на свое место. Идея мобилизации тюленей никого больше не соблазняла. В 1923 году Владимир Леонидович получил командировку в Германию и приобрел там морских львов. Он ими очень дорожил, ставил их выше собак. Помню, как он привел меня к бассейну и представил: «Илья Григорьевич, поэт и друг животных». Морские львы вылезли, начали аплодировать своими лапами и обдали меня ледяной водой. А Дуров говорил: «Если бы вы видели извилины их мозга...»

Дуров был убежден, что люди не понимают животных. Почему говорят «слепая курица»? Да курица видит ястреба задолго до того, как его заметит человек. Осел упрям? Ничего подобного: осла нещадно эксплуатируют, иногда он оказывает пассивное сопротивление. Свинья - чистоплотнейшее существо и в грязи выкатывается, чтобы освободиться от паразитов; дайте ей чистое помещение, и она будет брезгливо отворачиваться от многих людей.

Почему все-таки не приняли предложения об использовании морских львов против подводных лодок? Почему никто не рассмотрел проекта, как с помощью ручных орлов поджигать бомбардировщики? Нет, с людьми очень трудно!

В давние годы, заболев, Дуров составил завещание, писал, что если он умрет, то на кладбище его должны сопровождать животные. Духовенство сочло такое пожелание кощунством. Ах, люди не понимают, что у животных есть душа! Прошло десять или пятнадцать лет, и слово «душа» исчезло, душу заменили «рефлексы». Но люди по-

прежнему скептически улыбались. Физиологи, например, утверждали, что собаки не различают цвета предмета. Владимир Леонидович негодовал: «Все мои собаки могут отличить зеленый мяч от красного, даже начинающие щенки...»

Жена Дурова, Анна Игнатьевна, любила животных. Но Владимир Леонидович мне как-то печально рассказал, что в спальню имеют доступ только обезьяны, собаки, кошки и попугаи. Барсуку или гусю вход туда запрещен. «Неправильно... несправедливо...»

Однажды он пошел с очередной просьбой к Луначарскому; попросил подписать бумагу. Анатолий Васильевич ответил, что нужно проверить, подумать. Тогда из кармана Дурова выскочила его любимица, крыса Финька, и встала перед наркомом на задние лапы. Луначарский боялся крыс, крикнул: «Уберите!» Дуров вздыхал: «Не могу, Анатолий Васильевич, она за своих товарищей просит. Солидарность...»

Десять лет спустя в Париже он пришел в кафе «Куполь» тоже с крысой и очень удивился, когда дамы начали истерически вопить; он объяснял, что это крыса-артистка, но его не слушали.

Он шел в гости, говорил о научной работе, о прогрессе и неожиданно вынимал из кармана вместе с носовым платком сырую рыбу или кусок мяса: все его карманы были набиты угощением для зверей.

Глядя на людей, он думал о животных. Он описывает, как его тойтерьеры, радуясь, улыбаются и виляют задом, и добавляет: «Природа выражения ощущений во многих случаях одинакова. Возьмем хотя бы виляние задом. Я часто наблюдал, в особенности на балах, как молодой человек подходил к даме, виляя довольно заметно своим задом...»

Когда он приехал с Анной Игнатьевной в Париж, мы повели их в танцуюлку на улице Бломэ, куда приходили негры-студенты, художники, натурщицы. Владимир Леонидович внимательно следил за танцевавшими парами и вдруг радостно крикнул: «Мамочка, ты погляди: трутся животами - тот же рефлекс, что у попугаев...»

Анна Игнатьевна рассказала моей жене: «Я думала в Париже немного приодеться, но Володя купил жирафа. Жирафы очень дороги, потом, его нужно везти в специальном вагоне...»

Владимир Леонидович обожал шимпанзе Мимуса; он мне подробно рассказывал о его успехах: «Мимус научился произносить слоги, говорит несколько слов. Начинает писать; пока твердо усвоил только букву «о», теперь я показал ему «ш».

И вот случилось несчастье. Дуров должен был поехать на гастроли в Минск. Мимуса он берег, не показывал на арене; а взял с собой, чтобы ничего с ним не случилось. Обезьяна и перед этим часто хворала, она простудилась, схватила воспаление легких. Владимир Леонидович рассказал мне о ее конце: «Она спала в моей кровати в гостинице... Самое трудное - научить обезьяну быть чистоплотной в комнате. Котенок ведет себя прилично. А обезьяны рассеянные. Она знает, что ей нужно выйти, но ее отвлекает какая-нибудь забава - и вот в итоге пачкает... А Мимус никогда... Я вижу: он встает, берет туалетную бумагу, идет к ночному горшку. Не дошел - умер...» И в глазах Дурова показались слезы.

Я говорил, что трудно было порой понять его мировоззрение; но он страстно ненавидел войну, говорил об этом и на цирковой арене, и на научных заседаниях. В 1924 году он писал: «Советская Россия в свое время первая сделала смелый почин в деле разоружения и до сих пор открыто призывает брать с нее при мер...» (Тяжело подумать, что с той поры прошло почти сорок лет, что была невиданная в истории война и что слова Дурова кажутся выписанными из свежего номера газеты...)

Вся жизнь Владимира Леонидовича была эксцентрикой и поэзией. В третьем классе Московской военной гимназии при экзамене по закону божьему сын дворянина, Дуров Владимир, вошел в класс на руках. Экзаменаторы не знали о богомольных жонглерах средневековья и прогнали дерзкого мальчика. В старости Дуров был окружен учеными; к его книге написали предисловие профессора Кожевников и Леонтович. Казалось, что у Владимира Леонидовича общего с «рыжими»? Но нет, он до конца оставался артистом цирка, проклинал арену и не мог без нее жить.

Когда Владимир Леонидович скончался-летом 1934 года, похоронная процессия продвигалась с Божедомки к цирку. На катафалке сидела любимица Дурова, шотландская овчарка Рыжка. Тысячи людей приходили, чтобы проститься с клоуном, который смешил много поколений.

А собаки слушали, нюхали - ждали; ждали морские львы; ждал ворон, напрасно повторяя свое имя: «Воронок... Воронуша»... Дуров не приходил. Такого второго и не будет...

В начале 1921 года я как-то ехал с ним из ТЕО на Божедомку. Вез нас отощавший, но неунывающий верблюд. Дуров вдруг сказал мне: «Почему они на все отвечают «клоун... клоун»... Знаете, я вам скажу по секрету - клоуны самые серьезные люди...»

В очень холодный зимний день и встретил на Тверской С. А. Есенина; он предложил пойти пить настоящий кофе в таинственном месте, которое называл «Кисловкой».

Женщина, открывшая нам дверь, радостно зашебетала: «Ах, Сергей Александрович! Я вас заждалась...» Судя по безделкам на комодке, по старым английским гравюрам, она была в прошлом состоятельной дамой, а теперь держала «подпольную» столовую для актеров, писателей и спекулянтов. Есенин что-то шепнул ей, и вскоре на столе появились кофейник, сахарница, пирожные, даже графинчик с ликером. Я жил, скорее, по-монашески и не подозревал о существовании подобных заведений. Увидев, что я изумлен, Есенин обрадовался, как ребенок: «Ну чем не парижское кафе?..»

Хозяйка похвалила его галстук, и он снова обрадовался. Он был в светлом пиджаке и черных лакированных ботинках. Форсил он, как деревенский паренек, и улыбался, когда прохожие его узнавали.

Выпили мы немного - графинчик был крохотным; но уходить из уютной теплой комнаты не хотелось. Есенин меня удивил: заговорил о живописи; недавно он смотрел коллекцию Щукина, его заинтересовал Пикассо. Оказалось, что он читал в переводе Вердена, даже Рембо. Потом он начал декламировать Пушкина:

И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Вдруг обрушился на Маяковского: «Тит да Влас... А что он в этом понимает? Да если бы и понимал, какая это поэзия?..» Меня его слова не удивили: незадолго до того я слушал весь вечер в Политехническом музее, как Маяковский и Есенин друг друга ругали. Все же я спросил Есенина, почему его так возмущает Маяковский. «Он поэт для чего-то, а я поэт от чего-то. Не знаю сам от чего... Он проживет до восьмидесяти лет, ему памятник поставят... (Есенин всегда страстно жаждал славы, и памятники для него были не бронзовыми статуями, а воплощением бессмертия.) А я сдохну под забором, на котором его стихи расклеивают. И все-таки я с ним не поменяюсь». Я попытался возразить. Есенин был в хорошем настроении и нехотя признал, что

Маяковский - поэт, только «неинтересный». Он начал спорить с футуристами. Искусство вдохновляет жизнь, оно не может раствориться в жизни. Конечно, он, Есенин, писал похабные стихи на стенах Страстного монастыря, но это - озорство, а не программа. Народ? Уж на что был народен Шекспир, не брезгал балаганом, а создал Гамлета. Это не Тит и не Влас (он цитировал агитку Маяковского, где упоминались Тит и Влас). Он снова декламировал Пушкина, говорил: «Написать бы одно четверостишие такое - и умереть не страшно... А я обязательно скоро умру...»

На улице, когда мы прощались, Есенин сказал: «Поэзия не пирожные, рублями за нее не расплатишься...» Эти слова я запомнил - они меня поразили: в тот день я впервые увидел Есенина. А познакомились мы раньше, и стихи его я давно любил.

Осенью 1917 года в Петрограде меня позвала к себе молодая поэтесса М. М. Шкапская, которую я знал по Парижу. За столом сидел Н. А. Клюев в крестьянской рубахе и громко пил чай из блюдца. Он мне сразу показался актером, исполняющим в тысячный раз затверженную роль. Разговор иссякал, как пришел новый гость, молодой, красивый паренек, похожий на Леля из оперы; улыбаясь, он представился: «Есенин. Сергей. Сережа...» У него были глаза ясные и наивные. Мария Михайловна попросила его почитать стихи. Я понял, что передо мной большой поэт; хотел с ним поговорить, но он, поулыбавшись, ушел.

Потом мы несколько раз встречались в Москве: говорили о стихах, о событиях. В отличие от Клюева он менял роли; говорил то об индоклаве, то о динамичности образа, то о скифстве; но не играть не мог (или не хотел). Часто я слышал, как, поглядывая своими небесными глазами, он с легкой издевкой отвечал собеседнику: «Я уж не знаю, как у вас, а у нас, в Рязанской...» В мае 1918 года он говорил мне, что нужно все повалить, изменить строение вселенной, что крестьяне пустят петуха и мир сгорит. Он подарил мне свою книгу с такой надписью: «Милому недругу в наших воззрениях на Русь и Бурю И. Эренбургу на добрую память от искренне любящего С. Есенина».

И вот после долгой беседы на Кисловке я увидел подлинного Есенина. Скольких он разыгрывал! Иванов-Разумник, прослушав его «Инонию», восхищался: «Вот подлинный революционный

субъективизм...» Различные «скифы» считали Есенина выразителем своей идеологии, и я помню, как в Берлине А. А. Шрейдер доказывал, что призыв Есенина «Господи, отелись» потрясет буржуазную Европу. А молодые поэты видели в Есенине создателя новой поэзии; «имажинизм» подавался не как одно из многочисленных литературных направлений, но как скрижали завета.

Неправильно было бы думать, что Есенин обманывал или, если угодно, мистифицировал других; часто он разыгрывал самого себя; различные чувства, обуревавшие его, требовали формы, и тогда он уступал себе: из тоски делал программу, из душевного смятения - литературную школу.

Маяковский подчинял свои настроения идее. Есенин мог (какой раз признался мне) «валить дурака» в «Домино» или в «Стойле Пегаса», но писал он, не задумываясь, как ему в ту минуту хотелось.

Признав в конце свое духовное поражение, он говорил:

Приемлю все.

Как есть все принимаю.

Готов идти по выбитым следам.

Отдам всю душу Октябрю и Маю,

Но только лиры милой не отдам.

Он был счастлив.

Маяковскому пришлось бороться с непониманием, издевками одних, душевным холодом других, а Есенина понимали и любили при жизни. Была в его стихах та сердечность, то необыкновенное звучание, которые покоряли даже людей, против него настроенных, слышавших о его нелепых кабацких похождениях. Он мечтал о славе, и он ею пресытился. Когда ему было двадцать пять лет, он в стихах обращался к своим родителям:

О, если б вы понимали.

Что сын наш в России

Самый лучший поэт!

Его полюбила знаменитая танцовщица Айседора Дункан, на танцы которой и с восхищением смотрел в гимназические годы; она была на семнадцать лет старше его, но он обрадовался ее любви, как мировому признанию. Он хотел поглядеть мир и одним из первых пронесся по всей Европе, увидел Америку. Женщины в него влюблялись. Старые негры и парижские сорванцы ему сочувственно

подмигивали. Горький плакал, когда он ему читал стихи. Он делал все, что ему хотелось, и даже строгие блюстители советских нравов глядели сквозь пальцы на его буйные выходки.

И трудно себе представить человека более несчастного. Он нигде не находил себе места; тяготился любовью, подозревал в кознях друзей; был мнительным, неизменно считал, что скоро умрет. Я знаю объяснения досужих обывателей: «Спился». Но ведь нельзя принимать следствия за причину. Почему он спился? Почему надорвался в самом начале жизненного и поэтического пути? Почему столько неподдельной горечи даже в его ранних стихах, когда он не пил и не буйнил? Говорят, что при нэпе выползли из щелей подонки, и тогда родилась «Москва кабацкая»; но «Исповедь хулигана» написана до нэпа, в ту зиму, когда Москва напоминала фаланстер или монастырь со строгим уставом. Почему Есенин повесился в возрасте тридцати лет, в зените славы, не услышав даже далеких шагов старости?

Мне приводилось читать, что драма Есенина - в его расхождении с эпохой. А по-моему, дело не в эпохе. Конечно, Есенин жил в очень трудные годы и не раз огрызался на время; но не раз он и объяснялся этому времени в любви. Революцию он принимал на свой лад: в 1921 году его еще прельщала стихия бунта, он мечтал написать поэму «Гуляй-поле». Мы с ним встретились незадолго до моего отъезда в Париж; он подарил мне свою книгу «Трерядница» и сделал на ней такую надпись: «Вы знаете запах нашей земли и рисуночность нашего климата. Передайте Парижу, что я не боюсь его, на снегах нашей родины мы снова сумеем закрутить метелью, одинаково страшной для них и этих». Это было весной 1921 года; но Есенину все еще мерещилась озорная вольница, которая носится на резвых конях по всей нашей планете.

Прошло сорок лет. Есенина у нас читают, любят, и никому не придет в голову задуматься над запутанным мотком его политических идей. Он писал в 1920 году:

Я хочу быть желтым парусом

В ту страну, куда мы плывем.

А пять лет спустя, незадолго до смерти, признавался, что на корабле он был не парусом, но одним из пассажиров:

Ну кто ж из нас на палубе большой

Не падал, не блевал и не ругался?
Их мало, с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался.

...

Теперь года прошли. Я в возрасте ином.
И чувствую и мыслю по-иному.
И говорю за праздничным вином:
Хвала и слава рулевому!

Он промчался по Европе, по Америке и ничего не заметил. Он писал в письмах: «...Мой цилиндр и сшитое берлинским портным манто привели всех в бешенство... Такая гадость, однообразие, такая духовная нищета, что блевать хочется...», «Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять фокстрот...» Конечно, на Западе тогда был не только фокстрот, но и кровавые демонстрации, и голод, и Пикассо, и Ромен Роллан, и Чаплин, и много другого. Но состояние Есенина мне понятно. Дело не только в любви к березкам, о которой много писали, дело и в том, что он издали увидел во весь рост народ, ринувшийся к будущему.

Вернувшись в Россию, он попытался сделать выводы: «Наше едва остывшее кочевье мне не нравится. Мне нравится цивилизация. Однако я очень не люблю Америку. Америка - это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества». Он напечатал в газете очерк, наивный и беспомощный, но Америку окрестил необычайно точно «Железным Миргородом». Нужно напомнить, что было это в 1923 году, когда Леф прославлял красоту нью-йоркских небоскребов, когда был в моде НОТ (научная организация труда) - за два года до поездки в Америку Маяковского.

Есенин был прежде всего поэтом; исторические события, любовь, дружба - все это отступало перед стихами. Он обладал редким певческим даром. Для зоолога соловей - одна из птиц отряда воробьиных; но никакие описания птичьей гортани не могут объяснить, почему пение соловья издавна чаровало людей во всех краях мира. Никто не может объяснить, почему нас трогают многие стихи Есенина. Бывают поэты, полные высоких мыслей, блистательных наблюдений, страстных чувств, которые десятилетиями осваивают искусство передать другим свое духовное богатство. А Есенин писал стихи только потому, что родился поэтом:

Не каждый умеет петь.
Не каждому дано яблоком
Падать к чужим ногам.

...

Сие есть самая великая исповедь.
Которой исповедуется хулиган.

Глубокая грусть была свойственна поэтическому голосу Есенина:
ее нельзя приписать эпохе, даже если эта грусть многое эпохе
приписывала:

Хорошо им стоять и смотреть,
Красить рты в жестяных поцелуях.-
Только мне. как псаломщику, петь
Над родимой страной аллилуйя.

Он сам знал, что в его тоске, в его одиночестве никто не повинен:
Кого позвать мне? С кем мне поделиться

Той грустной радостью, что я остался жив?

Здесь даже мельница - бревенчатая птица
С крылом единственным - стоит, глаза смежив.

Я никому здесь не знаком.

А те, что помнили, давно забыли...

Такие чувства могут возникнуть в любую эпоху.
Может быть, поэтому стихи Есенина не стареют.

Ах, увял головы моей куст,
Засосал меня песенный плен.
Осужден я на каторге чувств
Вертеть жернова поэм.

Или:

И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
– Ничего! Я споткнулся о камень.

Это к завтраму все заживет)

Когда написаны эти строки? Сорок лет назад? Сто лет назад?
Вчера? Не знаю. Не имеет значения.

В годы войны я часто слышал от молодых лейтенантов, попавших
на передний край прямо со школьной скамьи, да и теперь мне говорят
молодые люди: «Люблю Есенина». Мне это понятно. Молодые, если
они не поэты и не особые любители поэзии, когда им радостно, легко

на душе, редко берут с полки томик стихов; они идут на матч футбола, танцуют, гуляют с девушками, вслух мечтают или жарко спорят. Стихи им нужны в часы печали, и тогда на выручку приходит Есенин, который давно умер и о котором они ничего не знают, кроме самого важного: он писал за них и про них.

Он не писал о том, как делать стихи, никогда не приравнивал труд поэта к производству, но смешно уверять, что он был наивным песенником. Да и были ли когда-нибудь такие? Пять веков ходила легенда о «бесхитроном поэте» Франсуа Вийоне, пьянице и преступнике, который писал, как ему господь бог на душу положит. Недавно Тристан Тцара сделал открытие: заключительные строки баллад Вийона - шифрованные, в них поэт рассказывает правду и о своих любовных горестях, и о своих преступлениях. Нужно воистину великое мастерство, чтобы строки, где каждая пятая или седьмая буква - шифр, показались естественными, чтобы никто не догадывался о трудностях шифровальщика. Есенин много раз говорил мне, что подолгу работает над стихом, черкает, рвет. Маяковский о нем сказал: «Звонкий забулдыга подмастерье». Есенин писал: «Я пришел, как суровый мастер...» (Прав был Есенин: «забулдыгой» он стал от печали, «звонким» никогда не был, а вопрос о звании - «мастер» или «подмастерье» - разрешен временем.) Есенин не раз себя называл «хулиганом»; но в одном он был почтителен: ценил мастерство. На что уж чужд ему был Брюсов, но, узнав о смерти Валерия Яковлевича, Есенин написал: «Эта весть больна и тяжела, особенно для поэтов. Все мы учились у него. Все знаем, какую роль он играл в развитии русского стиха...»

Поэзия Есенина мягка, человечна; нет в ней ни жестокости, ни душевного холода. Его стихи о собаке, у которой утопили щенят, написаны в годы войны, когда люди уже начали привыкать к равнодушию. Незадолго до самоубийства он написал стихотворение «Черный человек». Образ, видимо, навеян Пушкиным: «черный человек» преследует Моцарта. Но «черный человек» Моцарта - смерть. А Есенин узнал и угрызения совести; «черный человек» жесток, но поэт помнит об Айседоре Дункан:

Был он изящен,
К тому же поэт,
Хоть с небольшой,

Но ухватистой силою,
И какую-то женщину
Сорока с лишним лет
Называл скверной девочкой
И своею милою...
– Слушай, слушай! -
Хрипит он, смотря мне в лицо.
Сам все ближе
И ближе клонится,-
Я не видел, чтоб кто-нибудь
Из подлецов
Так ненужно и глупо
Страдал бессонницей.

В жизни он бывал и нежен, трогателен, и несносен - в буйстве душевного разора. Я видал его мягким, спокойным, внимательным; видал и в состоянии, граничившем с помешательством. Мне не хочется рассказывать о том, что имеет большее отношение к патологии, чем к душевной структуре поэта.

В Берлине несколько раз я встречал его с Айседорой Дункан. Она понимала, что ему тяжело, хотела помочь и не могла. Она обладала не только большим талантом, но и человечностью, нежностью, тактом; но он был бродячим цыганом; пуще всего его пугала сердечная оседлость.

Рядом с ним всегда бывали его спутники: имажинисты, Кусиков с гитарой или «крестьянские поэты», как будто сошедшие с лакированных коробок Палеха. Поэтов оттесняли просто пьяницы, довольные тем, что допущены к столу знаменитого человека.

Если футуризм, несмотря на желтую кофту и на лорнетку Бурлюка, был художественным и общественным явлением, то имажинизм мне всегда казался наспех сделанной вывеской для группы литераторов. Есенин любил драки; и как в гимназии «греки» дрались с «персами», так он охотно пошел к имажинистам, чтобы драться с футуристами. Все это даже не страница его биографии, а несколько сносок, способных заинтересовать только литературоведа.

Обиднее всего было видеть возле Есенина людей глупо случайных, ту околотитературную банду, которая любила (да и поныне любит) пить чужую водку, греться у чужой славы и прятаться

за чужой авторитет. Но не потому Есенин дошел до гибели, что вокруг него кружилась эта черная мошकारа - он ее к себе притягивал. Он знал ей цену; но в том состоянии, в котором он находился, ему было легче среди людей, им презираемых.

В 1924 году у общих знакомых я видел в последний раз Есенина. Он много пил, был в плохом виде, хотел уйти - бушевать, скандалить. Несколько часов я его уговаривал, удерживал силой, а он уныло повторял: «Ну,пусти!.. Я ведь не против тебя... Я вообще...»

В одном из последних стихотворений Есенина есть такие строки:

Как не любить мне вас, цветы?

Я с вами выпил бы на «ты».

Шуми левкой и резеда.

С моей душой стряслась беда.

С душой моей стряслась беда,

Шуми левкой и резеда.

Все понимают, что левкой не дуб и резеда не липа, шуметь они не могут. И все-таки это хорошо, а почему хорошо, объяснить невозможно: такова поэзия. И, вспоминая Есенина, я всегда думаю: БЫЛ ПОЭТ...

Когда я вспоминаю Александра Яковлевича Таирова, мне приходят в голову пушкинские стихи:

Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.

Жизнь Таирова проста, как притча. Юношей он полюбил театр; стал актером в провинциальной труппе; оказался в Петербурге, познакомился с передовыми поэтами и художниками. Мейерхольд ставил «Балаганчик» Блока; Таиров играл роль Голубой маски. Но Таирова еще не было.

В 1914 году он организовал Камерный театр, который стал целью, содержанием, страстью его жизни. С ним рядом была замечательная актриса Алиса Георгиевна Коонен. Таирову тогда было без малого тридцать лет. Он боролся за театр, который ему казался самым передовым.

Он не был безучастен к огромным переменам, происшедшим в России. Он охотно отказывался от заблуждений; искал; неутомимый, работал с утра до поздней ночи. У Камерного театра было много друзей, много и недругов; и если снова вернуться к пушкинскому стихотворению, то можно сказать, что десятки лет недруги повторяли:

Он-де богу не молился.

Он не ведал-де поста...

В 1949 году недруги победили: Камерный театр исчез. Александру Яковлевичу было шестьдесят четыре года. Год спустя он умер. В ту далекую зиму, о которой я пишу, молодой Таиров показал «Принцессу Брамбиллу», прошедшую с большим успехом. Он начал работать над «Федрой»; выпустил книгу «Заметки режиссера», отстаивал свои позиции и от сторонников натуралистического театра, и от Мейерхольда. Он был окрылен. И печальные встречи конца сороковых годов не могут заслонить в моей памяти веселого и счастливого Таирова первых революционных лет.

Москва восхищалась веселым карнавалом на сцене. Декорации Якулова были ослепительны, сказочны. Актеры все время прыгали, дурачились, танцевали, шутили. Москва также хорошо понимала муки Адриенны Лекуврер. Сентиментальную мелодраму Скриба Таиров превратил в трагедию. Игра Алисы Коонен потрясала зрителей. Это может показаться удивительным: разжалобить людей тогда было трудно; к смерти все пригляделись. Смерть Адриенны трогала, вероятно, потому, что была не натуральной, как в пьесе Скриба, а преображенной искусством - не кончиной в клинике Склифосовского, а концом Эвридики или Офелии.

Таиров хорошо понимал две формы театрального представления: арлекинаду и трагедию. В годы, о которых я рассказываю, люди жили без промежуточных состояний; были веселье и отчаяние, пещерный быт и макеты XXI века.

Таиров не только был скромным в жизни, он и в искусстве подчинял свои мечты строжайшей дисциплине. Говорят, что чувство меры подрезает крылья романтике; это верно, когда речь идет о житейском расчете, о мещанском благоразумии. Но вспомним: даже художники неистовой поры романтизма хорошо знали, что такое чувство меры,- без него искусство превращается в ходульность, в ложный пафос, в истерику.

Александр Яковлевич не раз говорил со мной о своем понимании театра. Он ушел от бытовизма, от показа на сцене, как актеры натурально пьют чай или тихо позевывают. Он любил приводить историю, рассказанную знаменитым французским актером прошлого века Кокленом. Бродячий актер на ярмарке показывал, как кричит поросенок. Все восхищались, аплодировали. Но один нормандский крестьянин предложил пари - он сделает это не хуже актера. Хитрый нормандец спрятал под свою одежду живого поросенка и стал его щипать. Поросенок кричал, но все присутствующие шикали - они нашли, что крестьянин не умеет подражать поросенку. Таиров знал, что такое искусство, и не признавал театра, стремящегося имитировать жизнь. Он часто говорил: «Театр должен стать театральным»; на первый взгляд это нелепо, как «вода должна быть жидкой». Но ведь кругом были театры, отказавшиеся от понятия «зрелище». А Таиров не верил ни в описательную поэзию, ни в

литературную живопись, ни в театр, напоминающий комнату, у которой почему-то ампутировали четвертую стену.

Таиров не отрицал значения драматурга или роли художника; но он хотел, чтобы все элементы на сцене были подчинены одному - театру.

Вначале он отдал дань декадентству: поставил «Саломею». Этой пьесой увлекался не он один. Таиров ее поставил в 1917 году, Марджанов - в 1919-м. Никто потом не вспоминал о грехах Марджанова, а Таирову «Саломею» не хотели простить. Между тем декадентством переболели в свое время многие. Я слышал, как А. В. Луначарский в 1909 году восхищенно декламировал самые наидекадентские стихи Бальмонта. Брюсов не только писал в молодости декадентски-эротические стихотворения, не только вешал на стены Ропса, он восторгался поэзами Игоря Северянина, который, хоть и называл себя «эгофутуристом», был декадентом для парикмахеров и невзыскательных шаркунов. На сцене Художественного театра стоял декадентский «Некто в сером» и, как чревовещатель на ярмарке, глухо объявлял: «Человек родился». В Малом театре ставили злополучную «Саломею». Все это быстро забылось. Но есть люди, которые, видимо, рождаются под несчастливой звездой. Таиров проделал большой и сложный путь, а когда он лежал в гробу, на гражданской панихиде один из режиссеров по бумажке еще припоминал его былые заблуждения...

Когда его просили рассказать или написать о своей жизни, он начинал перечислять постановки: это был человек одной страсти. Нельзя о нем рассказывать, не рассказывая о Камерном театре. Это был прекрасный театр, но который тоже родился под несчастливой звездой. Начну с того, что его неудачно окрестили. (Я встречал много людей, страдавших оттого, что родители дали им претенциозное или неблагозвучное имя - нежного юношу Тита, опытного инженера Каина, кокетливую девушку Конституцию.) В 1914 году слово «камерный» звучало, как «студия», - оно указывало, что молодой театр, преисполненный дерзаний, не рассчитывает на коммерческий успех. Имя осталось; и в течение тридцати лет недоброжелатели его обыгрывали. «Камерный - значит интимный, домашний, театр для знатоков, для гурманов...» (Название театра для многих было попросту непонятным. Александр Яковлевич рассказывал, что в

каком-то сибирском городе, где театр гастролировал, его спрашивали перед началом спектакля: «У вас только камерники или есть вольнонаемные?» - считали, что выступает кружок тюремной самодеятельности.)

Таирова ценили и защищали многие - и Луначарский, и старые актеры Малого театра, и М. Кольцов в «Правде», и рядовые зрители. А. В. Луначарский, восхищаясь постановкой «Федры», писал, что во многом Камерный театр приблизился к старому театру середины XIX века, к «великолепному Каратыгину». Я рассказал, как меня рассмешил старый французский актер Муне-Сюлли, который, наверно, играл, как некогда играл Каратыгин. Когда я гоготал над игрой Муне-Сюлли, я был мальчишкой, не понимавшим, что такое искусство. Прошли годы. И вот я увидел Алису Коонен в «Федре». Я не смеялся. Я узнал ту полноту искусства, от которой становится легко и немного страшно. (Может быть, нечто подобное чувствуют люди, впервые поднявшись над сферой земного притяжения.)

Я бывал на гастролях Камерного театра в Париже, в Берлине, видел восхищение зрителей. Таиров осмелился повезти во Францию расиновскую «Федру» и победил. Антуан и Пикассо, Леже и Жемье, Кокто и Жан Ришар Блок восторженно отзывались о спектаклях Камерного театра. В Японии о Таирове до сих пор вспоминают актеры театра «Кабуки». Кажется, немногие художники сделали столько для того, что на газетном языке называется «развитием культурных связей».

Камерный театр нельзя себе представить без Алисы Коонен. Эта добрая, душевная женщина на сцене терзала сердца зрителей; кто раз ее видел, помнит глаза, руки, голос. Она как будто пришла в театр из другого века, не знала прошлого или будущего. Люди были большими, большими были дела, но когда в тысячах театров подымался занавес, на сцене хлопотливо барахтались инженерю, первые любовники, комические старухи, резонеры. И вдруг пришла актриса трагедии, и пришла она в ту эпоху, которую никто не назовет эпохой комедии нравов или семейных драм.

Александр Яковлевич в жизни никак не походил на актера, разговаривал просто, сдержанно, всегда владел собой. Я видел, как в дни большой беды он аккуратно шел за кулисы, и перед актерами был спокойный, чисто выбритый, невозмутимый Таиров.

Признаюсь, я не театрал; но я не могу забыть многих спектаклей в Камерном - от давней «Принцессы Брамбиллы» до «Госпожи Бовари», поставленной в эпоху упадка, в 1940 году. За них я признателен Таирову и Коонен: они меня часто поддерживали своим мастерством. Они меня поддерживали и своей дружбой; я знал черный ход в Камерный театр - квартиру, где они жили; любая обида смягчалась их участием и лаской.

В 1949 году Таирова направили на работу в чужой театр. Он был человеком большой дисциплины, ждал работы, но ее не оказалось.

В давней книге, вспоминая о начале своей театральной деятельности, Таиров писал: «Когда на улицах Москвы появились, наконец, первые афиши с заголовком «Камерный театр», то мы просили прохожих читать нам их вслух, чтобы с непреложностью убедиться, что это действительно было, а не мираж». В последние недели своей жизни больной Александр Яковлевич тихонько выходил из дому. Беспокоясь за него, близкие проследили, куда он идет. Он доходил до стены, на которой были расклеены театральные афиши, долго и внимательно их разглядывал. Афиши Камерного театра не было...

Как-то зимой, раздобыв несколько листов бумаги, я попытался начать тот роман, о котором давно мечтал; написав несколько строк, я порвал лист. Время не благоприятствовало романам. Дело не в холоде и голоде (хотя, признаться, я часто мечтал о куске мяса). Дело даже не в различных заседаниях, на которых мы просиживали дни. Слишком близки и слишком грандиозны были события. Романист не стенографистка, ему нужно опомниться, подумать, отойти на несколько шагов (или на несколько лет) от того, что он хочет описать.

Кажется, в 1920 году в России не было написано ни одного романа. То было время стихов и литературных манифестов. Я думаю сейчас о писателях моего поколения, о Сейфуллиной, Фурманове, Лавреневе, Паустовском, Малышкине, Федине, Бабеле, Тынянове, Пильняке. Они воевали, демобилизовывались, выполняли различные задания, кочевали, правили чужие статьи, заседали, читали лекции, писали фельетоны, за крупные произведения почти все сели несколько позднее.

Роман, пережитый, продуманный, но не написанный, способен извести. Мне казалось, что стоит мне сесть в каком-нибудь парижском кафе, попросить у официанта кофе, несколько бутербродов, бумагу, и книга будет написана.

Я хотел написать сатирический роман, показать довоенные годы, войну, революцию; но последняя глава была закрыта туманом. Как я ни старался, я не мог себе, представить, что делали люди на Западе, пока русские низвергали, жгли, проектировали, дрались на десяти фронтах, голодали, болели сыпняком и бредили будущим. Я говорил себе, что круг должен быть завершен и что необходимо взглянуть на послевоенный Париж.

(Я много думал о книге. Я думал не только о ней. Моя молодость прошла в Париже; я полюбил этот город, оставил там много друзей. Порой я тосковал по Парижу и не хочу об этом умолчать.)

Однажды я рассказал про это моему давнему другу по большевистской школьной организации, рассказал не как о реальном

пожелании, а, скорее, как о мечте и очень удивился, когда меня вызвали в Наркоминдел и предложили заполнить анкету.

Хотя я жил в Третьем общежитии Наркоминдела, я никогда не заглядывал в дом, куда привез осенью тюки с печатями. Не знаю, чем занимались многочисленные сотрудники этого комиссариата (некоторых я встречал в коридорах общежития). Наверно, заседали. Ведь дипломатических отношений с другими государствами в ту пору почти не было. Потерпев поражение в попытках низвергнуть Советскую власть, правительства западных держав пытались убедить если не себя, то других, что России нет. (Германская республика признала существование Советской России только в 1922 году, Англия и Франция - в 1924-м, а Соединенные Штаты - в 1933-м.)

В приемной Наркоминдела бушевала немолодая, но чрезвычайно темпераментная женщина. Она истерзала секретаря наркома, а потом почему-то накинулась на меня: «Они не имеют никакого права! Можете спросить любого адвоката. У меня швейцарский паспорт, я не позволю со мной так обращаться!.. Я не буржуйка, я служила гувернанткой, меня нужно ограждать. Конечно, у меня сбережения в золоте, я не сумасшедшая, чтобы держать бумажки, когда они каждый день падают. Я напишу в Берн, я этого так не оставлю...» С трудом я от нее освободился и сел за анкету.

На вопрос о цели моей поездки за границу я ответил: «Хочу написать роман». Секретарь улыбнулся и заставил меня все переписать, продиктовал: «Худоожественная командировка».

Прошло еще несколько недель, и комендант общежития, товарищ Адам, сказал, что меня вызывают в Чека; увидев мое волнение, он добавил: «С главного подъезда - к товарищу Менжинскому».

В. Р. Менжинский был болен и лежал на чересчур короткой кушетке. Я думал, что он начнет меня расспрашивать, не путался ли я с врангелевцами; но он сказал, что видел меня в Париже, спросил, продолжаю ли я писать стихи. Я ответил, что хочу написать сатирический роман. Поскольку разговор зашел о литературе, я поделился с ним сомнениями: печатается слишком много ходульных стихов, а вот Блок замолк... Менжинский иногда улыбался, кивал головой, иногда хмурился. Вдруг я спохватился: человек занят, да еще плохо себя чувствует, а я затеял дискуссию, как в Доме печати...

Менжинский сказал: «Мы-то вас выпустим. А вот что вам скажут французы, не знаю...»

Я получил заграничный паспорт с латвийской визой; такой же паспорт дали моей жене.

Был яркий весенний день. Сугробы оседали, рушились, ползли. Капало с крыш. Звонко кричали мальчишки.

Весна в Москве необычайна; ничего подобного не знают жители благословенного юга; это не смена времен года, а исключительное событие в жизни любого человека; и хотя сегодняшняя Москва мало напоминает ту, по которой я шел в апреле 1921 года, весны те же, одна похожа на другую, и каждая ни на кого и ни на что не похожа. Нужно пережить длинную зиму, в декабре, просыпаясь, зажигать свет, мерзнуть, видеть землю неизменно закутанную в саван, нужно в марте слепнуть от метелей для того, чтобы по-настоящему оценить оттепель, ледоход, шумное новоселье жизни.

Именно в такой буйный солнечный день, возвращаясь в «Княжий двор» с заграничным паспортом, я вдруг задумался: вот я уезжаю... Трудно было оторваться от московской жизни; может быть, потому, что эта жизнь была очень трудной. После того как Мейерхольд ушел из ТЕО, заседания в детской секции, где мы продолжали по инерции разрабатывать различные проекты, начали мне казаться бессмысленными. Куда разумнее попытаться написать роман. И все же мне было трудно уехать: я понимал, что настоящая жизнь - здесь, в Москве...

В тот ли день или в один из последующих, не помню, но было это незадолго до отъезда, я долго и настойчиво убеждал себя: пора подвести итоги!

«Подвести итоги» - это было одной из последних наивностей ушедшей молодости. Я не знал, что мне понадобится не час и не два для того, чтобы осознать все значение тех лет, когда я метался по неприветливым улицам Москвы, по раскромсанной, растерзанной России, воспитывал «мофективных» детей, спорил о «левом искусстве», отчаивался, шутил, голодал, добывал хлеб или махорку. Мы все тогда говорили в стихах или в прозе об «исторической эпохе». А живя изо дня в день, эпохи не видишь: деревья заслоняют лес, и лес не дает возможности разглядеть отдельное дерево.

Сейчас мне хочется оглянуться назад, задуматься над давнишним клубком надежд и сомнений.

Я говорил, что история делается не по шучьему велению; она делается и не по той безупречной логике, которой сильна наука. Мальчишкой я часто слышал в кружке П. Г. Смидовича, что путь к социализму откроет пролетариат передовых индустриализированных стран.

В 1946 году один рабочий, проживавший в «Железном Миргороде», или, говоря точнее, в Детройте, сказал мне: «Почему вы все время говорите об американских капиталистах, о монополиях, об эксплуатации? Вы думаете, мы не знаем этого? Знаем. Но нам с нашими капиталистами живется лучше, чем вам без капиталистов...» Отсутствие классового сознания? Конечно. Но не только это - другое отношение к жизни, культ благополучия, страх перед подвигом, перед жертвами, перед неизвестностью.

Так или иначе, первым государством, где победила социалистическая революция, была Россия с ее отсталой промышленностью. Из трех граждан молодой Советской республики двое вместо подписей ставили крестики. В 1918 году мне привелось побывать в деревнях Московской и Тульской губерний. В избах можно было увидеть кресла, обитые плюшем, граммофоны, даже пианино, вывезенные из усадеб или полученные от горожан за мешок картошки. А люди еще жили жизнью дореволюционной деревни, описанной Чеховым и Буниным. Было много жестокости, невежества, темноты. Жгли библиотеки. Ненавидели горожан («дармоеды»), иные радовались, что города умирают от голода. Может быть, этим частично объясняется смятение, порой овладевавшее левой интеллигенцией и нашедшее свое выражение в статьях Горького.

Молодежь, пришедшая в город и захваченная вихрем событий, легко воспринимала упрощенные идеи крайних «пролеткультовцев», будущих «напостовцев». Мне не раз приходилось слышать: «Чего усложнять?..» Интеллигентщина, гниль... Газету читал? Значит, ясно. А «почему», «зачем» - буржуйские разговоры... Нечего голову ломать...»

Осенью 1920 года В. И. Ленин обратился к комсомольцам с такими словами: «Если коммунист вздумал бы хвастаться коммунизмом на основании полученных им готовых выводов, не

производя серьезнейшей, труднейшей, большой работы, не разобравшись в фактах, к которым он обязан критически отнестись, такой коммунист был бы очень печален. И такое верхоглядство было бы решительным образом губительно».

Я говорил о жажде знания, которая тогда охватила миллионы юношей и девушек. Народ раскрыл букварь. Нужно сказать и о тех, кто учил грамоте, кто читал лекции по истории или по геологии, кто спасал книги от огня, отстаивал здания музеев и, голодая, может быть, сильнее всех, защищал культуру,- о русской интеллигенции. Я говорю, конечно, не о той ее части, которая уехала за границу и там пыталась опорочить свой народ, но об интеллигенции, принявшей Октябрьскую революцию и в то же время полной сомнений. Когда перечитываешь первые рассказы Всеволода Иванова, Малышкина, Пильняка, Н. Огнева, ранние стихи Тихонова, становится ясным, что эти сомнения вытекали из той жажды критически подойти к фактам, о которой говорил Ленин.

На Страстной площади висел плакат: «Да здравствует электрификация!» Под этим плакатом Есенин однажды прочитал мне монолог Пугачева:

О Азия, Азия! Голубая страна.
Обсыпанная солью, песком и известкой.
Там так медленно по небу едет луна.
Поскрипывая колесами, как киргиз с повозкой.
Но зато кто бы знал, как бурливо и гордо
Скачут там шерстожелтые горные реки?
Не с того ли так свищут монгольские орды
Всем тем диким и злым, что сидит в человеке?

...

Уж давно я, давно я скрывал тоску
Перебраться туда, к их кочующим станам,
Чтоб разящими волнами их сверкающих скул
Стать к преддверьям России, как тень Тамерлана.

Стихи были хорошие. Но я сейчас думаю не о стихах. По стране рыскали банды. В деревнях обстреливали продотряды. Поля стояли незасеянными. Возле вокзалов уже бродили беспризорные дети. Города голодали: смертность быстро возрастала.

Все это кажется теперь давней историей. «Голубая Азия» увлечена индустриализацией, и ей помогает в этом Советский Союз. Если еще в конце тридцатых годов некоторые западные политики называли наше государство «колоссом на глиняных ногах», то вскоре они убедились, что ноги у «колосса» вполне доброкачественные.

Этим летом в моем саду цвели чудесные рудбекии, большие и яркие, как звезды древних мозаик; семена я купил в Париже у знаменитого селекционера Вильморэна, и назывались они русским словом «Спутник».

Когда я пляжу на Москву, я не могу себе представить, что это город, где прошло мое детство. Едешь к Внукову и каждый раз дивишься - растут уже не дома, а улицы, кварталы.

Конечно, у нас умеют лучше сделать реактивный самолет, чем обыкновенную кастрюлю; научатся делать и кастрюли. Но теперь западные политики только и говорят, что о баллистических ногах «колосса».

По своей природе я принадлежу к людям, которых называют «Фома неверный». (Прилагательное может сбить с толку: Фома был очень верным и, по христианской легенде, стойко перенес пытки; но он был не верящим на слово - захотел проверить правильность того, о чем ему рассказали, то есть критически подойти к факту.) В те годы, над которыми я сейчас размышляю (1920 - 1921), у меня было немало сомнений, но эти сомнения не походили на разговоры людей, считавших, что Россия разваливается, что придут варяги - носители порядка, что дело закончится умеренно либеральным буржуазным строем. В одном я не сомневался: в победе нового социального строя.

Быт был страшен: пша или вобла, лопнувшие трубы канализации, холод, эпидемии. Но я (как и все люди, с которыми я дружил) знал, что народ, победивший интервентов, победит и разруху. Несколько месяцев спустя я сел за свой первый роман. Хулио Хуренито, рассказывая о необычайном городе будущего, стальном, стеклянном и организованном, восклицает: «Так будет! Здесь, в нищей, разоренной России, я говорю об этом, ибо строят не те, у кого избыток камня, а те, кто эти невыносимые камни решается скрепить своей кровью...»

Сомнения мои были связаны не с мыслями о доме, а с мыслями о людях, которые будут в этом доме жить. В пьесе Юрия Олеши героиня составляет два списка: в один она заносит «благодетельниц» революции,

в другой - ее «преступления». Потом она осознает свою ошибку, и пьеса озаглавлена «Список благодеяний». Я таких списков не составлял ни на бумаге, ни мысленно: жизнь сложнее начальной логики, многие преступления могут привести к благодеяниям, и есть благодеяния, чреватые преступлениями.

(Говоря о теневых сторонах нашей жизни, порой добавляют - «пережитки капитализма». Иногда это верно, иногда нет. Яркий свет усиливает тени, и хорошее может сопровождаться некоторыми дурными последствиями. Возьму наиболее примелькавшийся пример - бюрократизм; о нем писал В. И. Ленин, и о нем продолжают говорить наши газеты сорок лет спустя. Разве бумажная водянка, гипертрофия регистрирующих, обсуждающих, проверяющих, скрепляющих - это только пережитки? Разве такое заболевание не связано с развитием организации, учета, контроля производства, то есть с вещами прогрессивными и правильными?)

Помню, как уборщица в Военно-химической школе, молодая деревенская девушка, пела частушку:

Наживу себе беду -

В сортир без пропуска пойду.

Я бы пропуск рада взять,

Только некому давать.

Я засмеялся, потом задумался.

Рабочий хорошо знает, что машина, даже самая сложная, сделана человеком и человеку служит. В 1932 году я был на строительстве Кузнецкого комбината. Люди, пришедшие из деревни, глядели на машины с ненавистью или с благоговейным ужасом; одни ломали станки - если машина не работала, они налегали в сердцах на рычаги, как хлестали в деревне замученного конягу; другие почтительно называли доменную печь «Домной Ивановной», мартеновскую - «дядей Мартыном».

Конечно, я прежде всего думал о судьбе искусства. Диаграмма, висевшая в кабинете В. Я. Брюсова, меня не только удивила, но и напугала. Литература была квадратами, кругами, ромбами - винтами огромной машины.

Однажды я поделился с Луначарским моими сомнениями. Он ответил мне, что коммунизм должен привести не к однообразию, а к многообразию, что творчество художника нельзя подогнать под один

образец. Анатолий Васильевич говорил, что есть «держиморды», которые не понимают природы искусства. Год спустя он написал статью в журнале «Печать и революция» и в ней прибег к тому же определению; говоря, что в переходное время необходима цензура, он продолжал: «Человек же, который скажет: «Долой все эти предрассудки о свободе слова, нашему коммунистическому строю соответствует государственное руководство литературой, цензура есть не ужасная черта переходного времени, а нечто присущее упорядоченной, социализированной социалистической жизни», - тот, кто сделает из этого вывод, что самая критика должна превратиться в своего рода донос или в пригонку художественных произведений на примитивно революционные колодки, тот покажет только, что под коммунистом у него, если его немного потерять, в сущности, сидит Держиморда и что, сколько-нибудь подойдя к власти, он ничего другого из нее не взял, как удовольствие куражиться, самодурствовать и в особенности тащить и не пущать...»

Еще не было журнала «На посту». Еще устраивались одновременно выставки художников различных направлений от Бродского до Малевича. Еще Мейерхольд неистовствовал неподалеку от Художественного театра. А мне все мерещилась диаграмма с квадратами и ромбами...

Мы осторожно, как рыбу, ели восьмушку колючего хлеба. Полонская писала:

Но грустно мне, что мы утратим цену
Друзьям смиренным, преданным, безгласным:
Березовым поленьям, горсти соли.
Кувшину с молоком и небогатым
Плодам земли, убогой и суровой...

В те годы мы все были романтиками, хотя и стыдились этого слова.

Я спорил не с эпохой, а с самим собой. В моих мыслях было много путаного. Я ведь стоял за индустриальную эстетику, за планируемую экономику, ненавидел хаос, лицемерие, позолоту капитализма (его я знал не по книгам). Но не раз я спрашивал себя: что станет в новом, более разумном и более справедливом обществе с разнообразием человеческих характеров, не подменит ли

усовершенствованные машины, восхваляемые мною, искусство, не подавит ли техника смутных, но дорогих людям чувств?

Сорок лет спустя я напечатал в «Комсомольской правде» письмо ленинградской девушки, которая рассказывала о превосходном инженере, презирующем искусство, равнодушном к трагедии Глезоса, сухом к матери и к товарищам, считающем, что любовь в атомный век - анахронизм. В той же газете я прочитал письмо специалиста по кибернетике; он издевался над девушкой, способной «плакать в подушку», над людьми, которые в наше время восхищаются музыкой Баха или поэзией Блока.

Многие из моих сомнений 1921 года были наивными и опровергнуты жизнью; многие, но далеко не все...

Пуще всего я боялся равнодушия, механизации не производства, а чувств, захирения искусства. Я знал, что лес вырастет, и думал о судьбе живого, теплого дерева, с его сложной корневой системой, с причудливыми ветвями, с кольцами сердцевины.

Может быть, такие мысли приходили ко мне, потому что в тридцать лет я готовился сдать экзамен на право называться писателем. Конечно, я не знал, какие трудности меня ждут; но мне было ясно, что дело не только в том, как построить роман или как отчеканить фразу. В одном из писем Чехов говорил, что дело писателя - вступаться за человека. Это звучит просто, и, однако же, это очень трудно...

Время тогда шло быстро, а поезда ходили медленно. До Риги мы ехали долго, можно было многое передумать.

В соседнем купе разместились наши дипкурьеры. Я поглядел на чешки с сургучными печатями и улыбнулся. У нас был только ободраный чемодан, а в нем журналы «Уновис», «Искусство Коммуны», «Художественное слово», книги Маяковского, Есенина, Пастернака.

Когда наконец мы доползли до Себежа, дипкурьер сказал нам: «Товарищи, скоро латвийская граница. Там буфет, помните о советском престиже не набрасывайтесь на еду...» Я решил не выходить из вагона.

В Ригу мы приехали вечером, и, втащив чемодан в маленькую гостиницу, я сказал Любе: «А теперь в ресторан...» Я оглядывался, как будто шел на нелегальную явку: неудобно - скажут, советский гражданин только приехал и сразу ужинать...

Не знаю, были ли порции большие или мы отвыкли от еды, но я не смог одолеть даже половину бифштекса. Мне стало грустно: вот кусок мяса, о котором я столько мечтал, а я не могу больше есть...

Нелегко было унять психологический голод. Пообедав, я останавливался возле булочной или колбасной разглядывал хлебцы различной формы, сосиски, пирожки. Так смотрят любители на редкие безделки и витрине антиквара. Я изучал меню, вывешенные у входа в многочисленные рестораны; названия блюд звучали, как стихи.

Я захватил с собой паспорт, выданный мне представителем Временного правительства в 1917 году, чтобы доказать французам, что я проживал в Париже. Документ этот успел обветшать и напоминал музейный экспонат. Когда я протянул французскому консулу советский паспорт, он отдернул руку, как будто я совал ему раскаленный утюг. Рваную бумажку он прочитал и сказал с отвращением: «Вы были политическим эмигрантом? Это не рекомендация...» Он спросил, чем я занимался в Москве и почему хочу направиться в Париж. Я ответил добродушно, что последние

месяцы я помогал Дурову дрессировать кроликов, а в Париже собираюсь написать толстую книгу. Консул мрачно сказал: «Не думаю, что вы ее напишете в Париже».

Я отправил письма друзьям, жившим в Париже: просил похлопотать о визах. Я успел отъесться и перестал разглядывать колбасы. Знакомых в Риге у меня не было. Зарядили холодные дожди. Однажды пришел печальный человек, сказал, что он открывает издательство, хочет печатать советских авторов, показал мне различные рукописи и купил мой сборник стихов «Раздумья». Иногда я заходил в наше посольство, читал «Правду», спорил с секретарем, которому нравились имажинисты. Французский консул мне отвечал однообразно: «Как я и думал, для вас ничего нет...»

Визы пришли, когда я потерял надежду. Консул наотрез отказался поставить их на советские паспорта и выдал особые пропуска. Я пошел в немецкое консульство, чтобы получить транзитные визы. Консул очень удивился, что я, будучи советским гражданином, получил французскую визу. Это показалось ему подозрительным, и он сказал, что не может пропустить нас через Германию. Пришлось выбрать очень сложный маршрут: на пароходе до свободного города Данцига, оттуда морем в Копенгаген и дальше через Лондон в Париж.

В Данциге нас выпустили в город. На узких, средневековых улицах толпились спекулянты, торговавшие различной валютой.

Датчане нас задержали и посадили в машину. Я решил, что нас везут в тюрьму; но отвезли нас в баню и, пока мы мылись, одежду подвергли дезинфекции. Это можно было объяснить: в России еще свирепствовал тиф. А вот в Лондоне полицейские меня приняли за сумасшедшего только потому, что на вопрос, как нам удалось бежать из России, я ответил, что мы уехали с заграничными паспортами.

В следующих частях моей книги я расскажу о жизни Западной Европы в годы после первой мировой войны; а когда я ехал из Москвы в Париж, мне было не до наблюдений. Хотя я хорошо знал Запад, все меня ошеломляло. Вещей было слишком много. Люди казались сонными и равнодушными.

В Копенгагене мы были первого мая. По улицам прошла чинная демонстрация; пели и жевали бутерброды. Перед ратушей объевшиеся голуби, казалось, не могли взлететь с земли. Возле королевского дворца стояли часовые в высочайших шапках. В рабочих кварталах

люди толпились у лавчонок и, видимо, были озабочены не ликвидацией капитализма, а покупкой маргарина, входившего в моду.

В Лондоне имелись тоже дворец и тоже часовые в огромных шапках. В Гайд-парке какой-то крикун объяснял прохожим, что в Фиуме и в Вильно нарушены права человека и что британцы должны опекать свободу. Я вспомнил английских солдат на улицах Феодосии и пошел дальше.

Наконец я добрался до «Ротонды». Все было на месте. Какой-то художник, поздоровавшись со мной, сказал: «Что-то вас давно не было видно. Уезжали?» - и, не дожидаясь ответа, начал рассказывать местные сплетни.

Хозяин гостиницы «Ницца», где я прожил много лет, вернулся с фронта невредимым. Мы дружески обнялись.

Да, все было, как прежде. Но я был другим... Прошедшую со мной перемену я понял, только очутившись в «Ротонде». Вещи, которые прежде мне казались естественными, теперь меня удивляли, порой злили. Париж был прекрасен; восхищенный, я бродил по набережным Сены, обошел все места, где протекала моя молодость. С городом мне было легко; куда труднее с людьми. Я не знал, как объяснить им, что произошло с нами в России.

Я уехал из Парижа в лето жестоких боев, и мне трудно было понять, что парижане как будто забыли годы войны; о недавнем прошлом напоминали только рекламы туристических компаний - «Дешевые экскурсии в Верден. Осмотр полей сражений».

Одна из газет объявила конкурс: «Какой маршал пользуется наибольшей любовью французов». Мужчины на улицах были странно одеты: пиджачки в талию, выпуклая грудь; благонравные отцы семейств выглядели педерастами. Я увидел впервые фокстрот; парочки тряслись, как заводные куклы.

Все, о чем я рассказываю, показательно не столько для Парижа 1921 года, сколько для моего душевного состояния. Я написал стихи (с архаизмами, которые продолжали меня пленять, несмотря на увлечение «левым искусством»):

... Да, страна моя, не зная меры,
Скарб столетий на костер снесла.
Не согреет темные пещеры
Тусклая остывшая зола.

Да, конечно, радиатор лучше...
Что же, Эренбург, попав в Париж,
Это щедрое благополучье
Б холеные оды претвори.
Но язык России дик и скорбен,
И не русский станет славить днесь
Триумфатора, что мчится в «форде»
Привкус смерти трюфелем заесть...

Впрочем, в русских, готовых прославить «великодушных хозяев», недостатка не было. Эмиграция еще не поняла, что ей предстоит на чужбине. Страсти гражданской войны еще не успели остыть. В Париже выходила газета Бурцева «Общее дело», Россию в ней называли не иначе как «совдепией». Помню одно сообщение, напечатанное в этой газете: уцелевших зверей московского Зоологического сада кормят телами расстрелянных. Зинаида Гиппиус обвиняла всех оставшихся в России в том, что они «продались большевикам», - и Блок продался, и Белый, и даже А. Ф. Кони... Бунин, с которым я встретился у Толстого, не захотел со мной разговаривать. А милейший Алексей Николаевич растерянно и ласково ворчал: «Ты, Илья, там набрался ерунды...» Как только я говорил, что выехал с советским паспортом, эмигранты отворачивались, одни возмущенные, другие с опаской.

Дружески меня встретили бывшие «ротондовцы»: я говорю «бывшие», потому что старая «Ротонда» исчезла; я это понял через два или три дня после приезда. Дело было не только в том, что сменился владелец кафе. Сменилась эпоха. Художников или поэтов вытесняли иностранные туристы. Бестолковая жизнь былых лет стала модным стилем людей, игравших в богему. Вокруг «Ротонды» были другие кафе, старые и новые, где укрывались некоторые ветераны и куда приходили новички. В кафе «Дом» я нашел старых друзей - Фотинского, Диего Риверу, Маревну, Цадкина. Иногда в «Ротонду» заглядывал Леже. В кафе «Селект» сидели молодые американцы; я их не знал и много лет спустя, познакомившись с Хемингуэем, узнал, что в «Селекте» он обдумывал свой первый роман.

Я рассказывал о московских выставках, о постановках Мейерхольда, читал на память стихи Маяковского, Есенина, Пастернака.

Пикассо меня обнял и сразу заявил: «Ты знаешь, мое место там. Что мне делать во Франции мосье Мильерана?» Альбер Глез рассказал, что он выставил недавно панно «Проект росписи одного из московских вокзалов». Леже мечтал работать в московском театре. Диего Ривера спрашивал, как ему пробраться в Россию. Поэт Андре Сальмон прочитал мне свою поэму, озаглавленную русским словом «Приказ», в ней он прославлял подвиг русского народа.

Буржуазная Франция, казалось, могла бы несколько успокоиться: опасные годы были позади. Демобилизованные успели забыть о солдатских бунтах. Волна забастовок спадала. Но на стенах еще можно было увидеть плакаты, изображавшие страшнейшего человека, который держит нож в зубах: это был тот бука, которым правящие круги пугали среднего француза. Пропаганда была не очень сложной: коммунисты - это азиаты, дикари, они провели национализацию женщин и заставляют всех маршировать по команде. Был довод сильнее «национализации женщин» - русские займы, сбережения средних французов, купивших в банке выгодные бумаги. «Плакали наши денежки», - причитали рантье со злобой, с отчаянием.

Да и неправильно было бы сказать, что французская буржуазия успела отдышаться. Правда, во Франции было спокойно, но всего полгода назад в соседней Италии рабочие захватывали один завод за другим. Всего два месяца назад газеты писали о восстании в Саксонии. На стенах Парижа можно было увидеть надписи - краской, углем, мелом: «Да здравствуют Советы!»

Я был во Франции весной 1946 года. Буржуазия тогда тоже нервничала. Ей не нравилось, что в рабочих предместьях Парижа муниципалитеты называли улицы именем Сталина. Но «холодная война» только-только начиналась, официально Советский Союз еще числился союзной державой, и на церемонии переименования улиц представители правых партий со смешанным чувством ненависти, страха и почтения приветствовали «великого маршала».

В 1921 году во Франции не было улицы Ленина; но Ленин как будто жил в рабочих предместьях. Он был не маршалом, а человеком, который много лет провел в Париже, которого некоторые встречали, помнили. Удивительная история о том, как человек в рабочей кепке стал главой огромной загадочной страны, как русские рабочие, голодные, раздетые, со старыми винтовками, отбили атаки

интервентов, ходила по парижским предместьям и не давала спать победителям.

Я начал понимать, что мои первые, поверхностные впечатления были обманчивыми. На Западе было много нового. Я купил брошюру - популярное изложение теории относительности. Меня увлекла новая книга Блеза Сандрара «Светопреставление», иллюстрированная Леже,- сатира, показывающая конец капиталистического мира и похожая на киносценарии.

Я увидел несколько фильмов Чарли Чаплина, который успел стать знаменитым. На выставке Пикассо тридцать холстов спорили один с другим, и все они были объединены неукротимой потребностью выразить пластически новую эпоху. Я понял, что мне нужно многое прочесть, посмотреть, продумать.

Диего обрадовался, узнав, что герой моего романа будет мексиканцем. Он собирался в Италию, но сказал, что расскажет мне о той обстановке, в которой прошло детство и ранняя молодость Хулио Хуренито.

Я купил блокнот и решил сесть за роман. Однако в мои литературные планы неожиданно вмешались французские власти. Товарищ Менжинский был прав...

Не знаю в точности причин моей высылки. Когда я спросил, почему меня высылают, чиновник префектуры мне ответил: «Франция - самая свободная страна в мире. Если вас выселяют, значит, на это имеются резоны...» Одному из приятелей, который хлопотал об отмене высылки, сказали: «Но вы не знаете - он занимался большевистской пропагандой». Вероятно, на террасе кафе, где я встречался с друзьями, сидели секретные осведомители; французы их называют «мухами»; они действительно назойливы, как осенние мухи, но мухи живут недолго; а осведомители порой переживают не только смену министров, но и смену режимов.

Рано утром ко мне явился плюгавый человек с тусклыми глазами и жидкими усиками, который показал мне значок - агент префектуры. Другой шпик задержал мою жену. Хозяин гостиницы негодовал: «Мне стыдно за Францию!..» На шпииков это не произвело никакого впечатления. Меня отвезли в префектуру и там объявили, что мы должны сегодня же покинуть Францию.

– Но куда мы можем поехать без виз? - наивно спросил я.

– Ближайшая граница - бельгийская.
– У нас нет бельгийских виз.
– Вы их и не получите. Бельгийцы вас отошлют назад - на французскую границу.

– И тогда?..

– Тогда мы вас задержим за незаконный переход границы. Вы отбудете наказание, и вас тогда уж не выселят, а вышлют.

Я не понял различия между двумя понятиями: «выселение» и «высылка». Чиновник разъяснил:

– До границы вы проследуете в обыкновенном вагоне за свой счет. Вас будет сопровождать наш сотрудник в штатском. А когда вас вышлют, вы сможете не беспокоиться о билетах - вас отправят до границы под конвоем. Сейчас вы свободны. Вас будет только сопровождать наш сотрудник...

– Но когда бельгийцы нас вернут и когда я отсижу положенное, куда вы нас вышлете?

– В ту же Бельгию.

Я понял, что из нас хотят сделать футбольные мячи, которыми будут играть французы и бельгийцы. Это показалось мне мало соблазнительным. Все же нужно было пообедать. Мы пошли в ресторан напротив «Ротонды» и там встретили знакомого скульптора. Мы рассказали, что нас высылают. Он побежал в «Ротонду», в «Дом», и вскоре мы оказались окруженными десятком друзей. Все возмутились. Шпики сидели за соседним столиком и ели с аппетитом: к тому, что они «грязные флики» (так называют французы полицейских), они давно привыкли, ибо слышали это ежедневно, а в ресторане Бати кормили хорошо, и у «фликов» были подотчетные на подобного рода расходы.

Я подумал о том, что приказ о моем выселении подписал толстяк Бриан, один из самых умелых ораторов, парламентский соловей, и развеселился. В годы войны я был ему представлен как корреспондент «Биржевых ведомостей». Он спел мне короткую, но нежную арию... Теперь я напугал Бриана. Как зайцы Дурова, я начинал понимать, что я - грозный зверь.

Поезд уходил поздно вечером. На вокзале один из шпииков сказал, что купит для нас билеты: «Конечно, в третьем классе?..» Мы

приехали в третьем классе, но тон шпика меня рассердил, и я ответил: «Конечно, в первом...» Пожалуй, это нас и выручило.

В купе были трое: Люба, я и шпик, который вышел на французской границе. Я посоветовал Любе лечь и прикинуться спящей. Вошел бельгийский жандарм; я ему жестом показал на Любу - не нужно ее будить. Бельгиец добродушно кивнул головой: к пассажирам первого класса полицейские относятся с уважением. Я показал полуистлевший лист - паспорт 1917 года. Тщетно жандарм искал бельгийскую визу. Сложив осторожно лист, он шепнул: «У вас чересчур старый паспорт, нужно его обменять». Я тоже шепотом ответил: «Вы правы, я собираюсь это сделать в Брюсселе...»

Футбольный матч не состоялся - мы спокойно поехали дальше.

В Брюсселе, напротив Южного вокзала, мы увидели две гостиницы: одна называлась «Провидение», другая «Упование». Мы не хотели терять надежду и направились в «Упование»; но там нас попросили заполнить карточки, в которых имелся коварный вопрос о въездных визах.

Моя молодость прошла в архаическую эпоху, когда не было ни гражданской авиации, ни радиовещания, ни виз. Самолеты - изобретение замечательное; радиоприемник бывает полезен, притом его не обязательно включать - это дело вкуса; но вот визы никак нельзя отнести к открытиям, облегчающим жизнь человека. Не берусь подсчитать, сколько в жизни я потратил на них времени, сил, нервов. Причем визы бывают разные, как бактерии; их можно разделить на классы, на семейства: есть въездные и выездные, транзитные с остановкой или без остановки, однократные и многократные, с указанием пограничного пункта или без; разобраться в них нелегко; еще труднее их получить.

Мы поспешно вышли из вестибюля гостиницы; вместо ответа на вопрос о въездных визах я поставил игривую черточку. Наша ночная удача могла кончиться крупными неприятностями среди бела дня: мы проникли в Бельгию без въездных виз.

Я рассказывал, что перед войной в Париже я издавал поэтический журнальчик «Вечера» вместе с ростовчанином Не мировым. У него была очень милая жена, веселая, чуть раскосая, певунья. Ее звали Марусей. Вскоре она разошлась с Немировым; во время войны я часто встречал ее на юге Франции. Перед моим отъездом в Россию мне рассказали, что Маруся вышла замуж за бельгийского поэта Элленса.

Выйдя из гостиницы, я думал об одном: как разыскать Элленса? Адресного стола в западных странах не существует - люди хотят спокойствия, и о том, кто где живет, знают только господь бог да полиция. В телефонном справочнике Элленса не оказалось (я не знал, что Элленс - псевдоним). Я зашел в книжный магазин; мне сказали, что здесь торгуют серьезными книгами, а не стихами. Я начал изучать витрины книжных лавок и нашел такую, где красовалась книга

Элленса; я радостно вбежал в магазин, но ничего не добился: мне предложили написать письмо на адрес издательства. Я не мог объяснить, что, пока письмо дойдет до Элленса, я буду уже не в гостинице «Упование», а в обыкновенной каталажке.

Мне повезло: в пятом или в десятом магазине я набрел на любителя поэзии, который оказался сердобольным. Он мне сказал, что я найду Франса Элленса в палате представителей; его фамилия Ван Эрменгем, и он заведует парламентской библиотекой. У меня сразу выросли крылья: парламент - не «Ротонда»!

Элленс и Маруся приняли нас, как старых друзей. Я бубнил про визу. Маруся вспоминала прошлое. Элленс молчал и нежно улыбался. Ему было сорок лет; на суровом северном лице светились глаза мечтателя и ребенка.

Элленс рассказал одному из министров, что я - поэт, меня почему-то выслали из Франции и я хочу провести несколько месяцев в Бельгии, чтобы написать книгу. Формальности заняли две недели. Я бродил по Брюсселю, очень шумному возле биржи и очень тихому в старых кварталах, где много пепельно-черных домов с позолотой, опрятных старух и неторопливых мечтателей, которые после конца рабочего дня курят трубки и бледными глазами смотрят на бледное небо.

Я подружился с Элленсом. Это удивительно чистый и печальный человек. Он прежде всего поэт; не только потому, что писал и пишет стихи, а потому, что его проза, да и вся его жизнь пропитаны эссенцией поэзии.

Весной, когда мы познакомились, он писал роман «Басс-Бассина-Балу» - так он назвал негритянского бога, который стоял в его комнате. В романе этот бог, мудрый и наивный, всемогущий и бессильный, попадает из дебрей Африки в Европу и рассказывает с грустной иронией о том, что делается вокруг. Я читал письмо Горького об этой книге, оно продиктовано не простой вежливостью, а любовью. (Познакомились они позднее - в 1925 году, в Сорренто; и в другом письме Горький вспоминал глаза Элленса, в которых, несмотря на суровость, угадываешь детскую печаль и нежность.) «Басс-Бассина-Балу» понравился Стефану Цвейгу, он написал предисловие к немецкому переводу этой книги.

Я много рассказывал Элленсу о Москве. Он увлекся стихами Есенина и с помощью Маруси начал их переводить на французский язык.

Потом я иногда встречал Элленса - в Париже, в Брюсселе. Шли годы; прошла жизнь. Все теперь другое; а Элленс тот же: дети не старятся, мечтатели не изменяют,- значит, и не изменяются...

Элленс как-то познакомил меня с художником Пермеке, теперь известным всем любителям живописи, а тогда еще причисляемым к «молодым» (ему было тридцать пять лет; но из жизни художника выпали годы войны; он был тяжело ранен при защите Антверпена, выжил наперекор прогнозам). Не знаю, в чем объяснение - в крепости традиций или в особенности пейзажа Фландрии, точнее, ее света, но бельгийцы - прекрасные живописцы. Незачем говорить о Мемлинге или Ван-Эйке, достаточно взглянуть на холсты Энзора. Пермеке почему-то причисляли к экспрессионистам, хотя в нем не было пренебрежения к живописи ради литературной выразительности. Он любил писать рыбаков, обветренных и угрюмых, крестьян прибрежной полосы, матерей, старух. Его длинные пейзажи показывают плоскую землю - едва возвышается то стог сена, то одинокое и обязательно приземистое, прибитое ветрами дерево; огромную роль играет небо, зеленоватое или свинцовое. Его натуре были присущи беспокойство, трагизм. Я надолго потерял Пермеке из виду; встретились мы четверть века спустя, незадолго до его смерти. Я поехал к нему - он жил возле Остенде,- большой, больной, одинокий: он потерял жену, с которой прожил жизнь. На стене мастерской висел холст, который я не могу забыть: Пермеке написал жену в кровати, когда она умерла, красками выразил свое душевное состояние.

Я все ждал ответа министра. Под окном «Упования» до поздней ночи кружились карусели и шарманки старались перекричать одна другую.

Наконец я получил разрешение на пребывание в Бельгии. Был июнь, мы поехали на побережье, в местечко Ля-Панн, возле французской границы. Гостиницы пустовали - до каникул оставалось несколько недель. Кое-где на побережье попадались развалины: дома, разрушенные во время войны, еще не были отстроены. Море было

большим и рассерженным; в отлив оно уходило вдаль, затаив злобу, а потом яростно кидалось прямо к гостинице.

Когда море уходило, на песке оставались водоросли, морские звезды и много обломков дерева. Я машинально подымал их - вспоминал, как в Коктебеле искал на берегу куски дерева, для того чтобы зажечь мангалку...

Кругом были песчаные холмы - дюны, кое-где поросшие колючей серой травой. Эти холмы путешествуют: ветер сгоняет и нагоняет пески. Подымаясь на дюны, я видел Францию.

Я работал с утра до поздней ночи в маленькой комнате с окошком на море. «Хулио Хуренито» я написал за один месяц, писал как будто под диктовку. Порой уставала рука, тогда я шел к морю. Неистовый ветер валил стулья на пустых террасах кафе. Море казалось непримиримым. Этот пейзаж соответствовал моему состоянию: мне казалось, что я не вожу пером по листу бумаги, а илу в штыковую атаку.

Писать я не умел. В книге много ненужных эпизодов, она не обстругана, то и дело встречаются неуклюжие обороты. Но эту книгу я люблю.

Говорят, будто все авторы любят свою первую книгу. Это неверно. Я знаю писателей, которые не выносят, когда при них вспоминают их ранние произведения. Да что говорить о других: мне смешон и противен мой первый сборник стихов. О времени, когда я писал стихи про маркизов, я вспоминаю с нежностью, даже о типографе, а стихи скверные и, плавное, чужие. Люблю я «Хулио Хуренито» потому, что эта книга, при множестве недостатков, написана мною, мною пережита, это действительно моя книга.

Я много раз как писатель обезьянничал. Я рассказывал о подражательности моих ранних стихов. Но вот позднее, вскоре после «Хуренито», я стал жертвой той литературной моды, которая тогда свирепствовала. Как некоторых моих литературных сверстников, меня соблазнили ритмическая проза Андрея Белого и причудливый синтаксис Ремизова. То, что у этих писателей было органично, у меня походило на пародию. Я не могу перечитывать иные из книг того периода: все время хочется поставить прилагательные и существительные на место. «Хулио Хуренито» написан порой неуклюже, но просто, нет в нем словесных вывертов.

Я узнал из критических статей, что мой роман - подражание «Кандиду». Должен, к стыду, признаться, что «Кандида» я прочитал только после этих статей; в молодости я читал много, но бестолково, да и до сих пор в моих литературных познаниях большие провалы. Однако догадки критиков мне понятны. В «Хуренито» сказались годы молодости, прожитые во Франции. Конечно, рабочие на товарной станции Вожирар, как и я, не читали «Кандида», но в их шутках нашли выражение те же черты французской иронии, которые нас покоряют в книгах Вольтера. Да и, может быть, автор «Кандида» повлиял на формирование национального гения Франции.

Я люблю «Хуренито», потому что я написал его по внутренней необходимости: я ведь еще не считал себя писателем. Книгу эту я вынашивал долго. Может быть, в ней недостаточно литературы (не было опыта, мастерства), но нет в ней никакой литературщины.

Я написал много книг и далеко не все из них люблю. О некоторых я редко вспоминаю, не перечитываю их. Для молодых читателей я как писатель родился в годы второй мировой войны. О «Хуренито» помнят у нас предпочтительно пенсионеры, а он мне дорог: в нем я высказал много того, что определило не только мой литературный путь, но и мою жизнь. Разумеется, в этой книге немало вздорных суждений и наивных парадоксов; я все время пытался разглядеть будущее; одно увидел, в другом ошибся. Но в целом это книга, от которой я не отказываюсь.

В «Хуренито» я клеймил всяческий расизм и национализм, обличал войну, жестокость, жадность и лицемерие тех людей, которые ее начали и которые не хотят отказаться от войн, ханжество духовенства, благословляющего оружие, пацифистов, обсуждающих «гуманные способы истребления человечества», лжесоциалистов, оправдывающих ужасное кровопролитие. Я подписываюсь и теперь под этими мыслями; и если я ненавижу расизм и фашизм, если нахожу силы, чтобы участвовать в борьбе за мир, то потому, что человек за полвека снашивает много костюмов, но остается при этом самим собой.

В «Хуренито» я показывал ханжество мира денег, ложную свободу, которую регулирует чековая книжка мистера Куля и социальная иерархия мосье Дэле, установившего шестнадцать классов даже для погребения. За двенадцать лет до прихода к власти Гитлера я

вывел герра Шмидта, который «может быть одновременно и националистом и социалистом», который говорит французам и русским: «нам необходимо вас организовать», «колонизировать Россию, разрушить как можно основательнее Францию и Англию... Мы оставим голую землю... Убить для блага человеческого одного умалишенного или десять миллионов - различие арифметическое. А убить необходимо...» Если бы я не написал этого в 1921 году, то в 1940 году не сумел бы написать «Падение Парижа».

Я иногда ошибался, иногда видел достаточно ясно. Задолго до печей Освенцима и Бабьего Яра в книге напечатано следующее объявление: «В недалеком будущем состоятся торжественные сеансы уничтожения иудейского племени... В программу войдут, кроме излюбленных уважаемой публикой традиционных погромов, также реставрированные в духе эпохи: сожжение иудеев, закапывание живьем в землю, опрыскивание полей иудейской кровью и новые приемы «эвакуации», «очистки от подозрительных элементов» и пр. и пр.».

Я знал, что «Хулио Хуренито» должен вызвать гнев блюстителей порядка: «Какой консул положит теперь на мой паспорт визу? Какая мать семейства пустит меня на порог своего дома, где живут честные юноши и чистые девушки?» Меня не удивило, что белые эмигранты встретили мой роман с возмущением. Но огонь был перекрестным: «напостовцы» называли «Хуренито» не иначе как «клеветой на революцию». Почти в каждом номере их журнала к моему имени добавлялось «клеветник».

В предыдущей главе я рассказывал о моем страхе перед механизацией чувств, перед регламентацией творчества. Эти мысли нашли отражение в «Хуренито». Одни опасности я тогда преувеличивал, других не видел. Критики меня называли «циником», «нигилистом», а если следовало меня в чем-либо обвинить, то скорее в гипертрофии романтики.

«Хулио Хуренито» читатели читали, критики ругали, ругали крепко и длительно: говоря о моих последующих книгах, всегда припоминали первый роман как главную улику. Мне случайно попался номер «Нового мира», вышедший тридцать пять лет назад; в нем статья обо мне, длинные цитаты из «Хулио Хуренито» и выводы: «Разбитая в открытой схватке русская буржуазия борется духовно...

Эренбург служит своему классу по-настоящему... Эренбург - последний буржуазной культуры... История русской литературы ничего бы не потеряла, если бы Эренбург «не пожелал» сделаться писателем...» Я привел выдержки из статьи, пожалуй, наиболее мягкой.

В 1924 году в Киеве я пошел на спектакль - инсценировку «Хулио Хуренито». На сцене показывали Илью Эренбурга, у него на плечах сидел американец мистер Куль и покрикивал: «Живей, живей, моя буржуазная кляча...» Мой тесть, доктор Козинцев, возмутился, а мне было смешно.

Конечно, бывали часы, когда я огорчился: на меня падали снаряды не врагов, а своих. Но, к счастью, в тот период снаряды были бумажными. Постепенно я привык к различным обвинениям; выработался частичный иммунитет, который впоследствии не раз спасал меня от полного отчаяния.

Нападали и на форму моего первого романа. Мне думается, что она раздражала не погрешностями языка, а непривычностью. С той поры критики неизменно утверждают, что я журналист, который пишет романы, как фельетоны; по их мнению, я незаконно вторгся в художественную литературу. Для меня же вторжение газеты в роман было связано с поисками современной формы повествования. Есть люди, которые считают, что детальное описание внешности героя или ландшафта позволяет сухим тезисам обрасти плотью, передовой статье стать новеллой или романом. А это, говоря откровенно, принудительный ассортимент, освещение театральными прожекторами затянувшегося заседания. Право же, «Былое и думы» с большим правом могут быть причислены к «чистому искусству», нежели «Накануне»...

В 1922 году «Хуренито» был издан в Берлине издательством «Геликон», в Москве - Государственным издательством. Мне было приятно, что моя книга понравилась Маяковскому, что о ней одобрительно отозвались некоторые писатели Петрограда, которых я ценил. (В 1942 году А. Н. Толстой в одной из статей вспомнил о моих сатирических романах и добрым словом упомянул «Хулио Хуренито».) Позднее я прочитал в воспоминаниях Н. К. Крупской о том, как принял мой первый роман В. И. Ленин; это было для меня большой моральной поддержкой.

Вскоре «Хуренито» вышел по-немецки, изданный коммунистическим издательством, по-французски с предисловием Пьера Мак-Орлана, на других языках.

Я стал профессиональным писателем.

Но я снова забегаю вперед. Вот я кончил последнюю страницу «Хуренито». На ней я написал: «Довольно обильная седина, частые перебои сердца, слабость утешают меня - я миновал уже трудный перевал...»

Я вышел к морю. Ревел прибой. Была ночь, и вдали метались огоньки рыбацких суденышек. Я шел против ветра; мне было тревожно и весело.

О многом человек и писатель может догадаться, но далеко не обо всем. Седые волосы видишь в зеркале, когда брешься, а в будущее заглянуть труднее. Я не понимал, что впереди еще много труднейших перевалов и что ветер не уляжется, пока бьется сердце...